

ИРВИН ЯЛОМ

ПРОБЛЕМА СПИНОЗЫ



Ирвин Ялом. Легендарные книги

Ирвин Ялом
Проблема Спинозы

«ЭКСМО»

2012

Ялом И. Д.

Проблема Спинозы / И. Д. Ялом — «Эксмо», 2012 — (Ирвин Ялом. Легендарные книги)

ISBN 978-5-699-54398-4

Они жили в разное время. У них не могло быть ничего общего. Один был великим философом, другой – нацистским преступником. Но их судьбы удивительным образом переплелись. Новая книга знаменитого психотерапевта и беллетриста Ирвина Ялома представляет собой бесподобный синтез исторического и психологического романа. Жизнеописание гения и злодея – Бенедикта Спинозы и Альфреда Розенберга, – интригующий сюжет, глубокое проникновение во внутренний мир героев, искусно выписанный антураж XVII и XX веков, безупречный слог автора делают «Проблему Спинозы» прекрасным подарком и тем, кто с нетерпением ждет каждую книгу Ялома, и тем, кому впервые предстоит насладиться его творчеством. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

ISBN 978-5-699-54398-4

© Ялом И. Д., 2012

© Эксмо, 2012

Содержание

Книги Ирвина Ялома	5
Предисловие переводчика	7
Введение	8
Глава 1	10
Глава 2	13
Глава 3	19
Глава 4	26
Глава 5	31
Глава 6	35
Глава 7	41
Глава 8	47
Глава 9	51
Глава 10	58
Глава 11	64
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Ирвин Ялом Проблема Спинозы

Книги Ирвина Ялома



«Когда Ницше плакал»

Незаурядный пациент... Талантливый лекарь, терзаемый мучениями... Тайный договор. Соединение этих элементов порождает незабываемую сагу будто бы имевших место взаимоотношений величайшего философа Европы (Ф. Ницше) и одного из отцов-основателей психоанализа (Й. Брейера).

«Лжец на кушетке»

Ялом показывает изнанку терапевтического процесса, позволяет читателю вкусить запретный плод и узнать, о чем же на самом деле думают психотерапевты во время сеансов. Книга Ялома – прекрасная смотровая площадка, с которой ясно видно, какие страсти владеют участниками психотерапевтического процесса.

«Мама и смысл жизни»

Беря в руки эту книгу, ты остаешься один на один с автором и становишься не читателем, а скорее слушателем. Ну и, разумеется, учеником, потому что этот рассказчик учит. И когда он говорит: «Слушайте своих пациентов. Позвольте им учить вас», на какой-то миг вы меняетесь местами: ты становишься врачом, а Ялом – твоим пациентом, который учит своего терапевта. Ты только позволь ему это делать.

«Проблема Спинозы»

Жизнеописание гения и злодея – Бенедикта Спинозы и Альфреда Розенберга, интригующий сюжет, глубокое проникновение во внутренний мир героев, искусно выписанный антураж XVII и XX веков, безупречный слог автора делают «Проблему Спинозы» прекрасным подарком и тем, кто с нетерпением ждет каждую книгу Ялома, и тем, кому впервые предстоит насладиться его творчеством.

Предисловие переводчика

Уважаемые читатели!

Искренне надеюсь, что вы получите от чтения книги, которую держите в руках, такое же удовольствие, какое получила я, ее переводя. Будучи по жанру историческим романом, «Проблема Спинозы» разительно отличается от большинства современных произведений того же плана, где более или менее искусно выписанный антураж исторического периода и приключения героев в стиле экшн нередко становятся самоцелью. Притом что «вкус» эпохи (точнее двух) и захватывающие сюжетные перипетии в этом романе тоже есть (равно как символические смысловые вехи и яркие контрасты, создающие стройную архитектуру текста), он еще отмечен тонким и глубоким психологизмом – «знаком качества» большой литературы. Да и могло ли быть иначе – учитывая, что автор, Ирвин Ялом, является одним из виднейших представителей школы глубинной психологии! К счастью, талант психолога и психиатра сочетается в нем с даром беллетриста – и настолько мощным, что даже учебные пособия по клинической психотерапии, вышедшие из-под пера Ирвина Ялома, читаются почти как романы.

В «Проблеме Спинозы» оба эти таланта сверкают всеми своими гранями – и первый накладывает явственный отпечаток на авторский стиль, особенно в эпизодах беседы двух как бы «психотерапевтических пар» (терапевт – пациент): *Бенто Спиноза – Франку Бенитеш* и *Фридрих Пфистер – Альфред Розенберг*. Задача Ялома – показать внутренний мир своих героев через их психологическое раскрытие в череде бесед – диктует выбор определенных выразительных средств. Так что если вам, уважаемые читатели, в какой-то момент покажется, что жившие в XVII веке Бенто и Франку в процессе «взаимной терапии» переходят на язык психиатров и психологов века XX, то это вовсе не потому, что автор «не выдержал стиль». Скорее, рисуя психологические портреты далеко опередивших свое время людей, автор именно такими необычными штрихами прибавляет им жизненных красок и приближает к нам. Так, как будто мы смотрим на них не сквозь пыльные и дымные стекла истории, а через линзу телескопа, отшлифованную с одной стороны трудами Бенто Спинозы, а с другой – Ирвина Ялома.

Элеонора Мельник

Введение

Факты или вымысел? Расставляя точки над «i»

Я пытался написать историю, которая могла бы происходить на самом деле. Стараясь как можно ближе придерживаться исторических событий, я прибегнул к своему профессиональному опыту психиатра, чтобы представить внутренний мир Бенто Спинозы и Альфреда Розенберга. Два придуманных мною персонажа – Франку Бенитеш и Фридрих Пфистер – служат вратами, открывающими вход в психику главных героев. Разумеется, все сцены с их участием вымышлены.

О жизни Спинозы с уверенностью можно сказать, на удивление, мало – возможно, потому, что он предпочел оставаться «невидимкой». История о двух его визитерах-евреях, Франку и Якобе, основана на кратком рассказе из ранней биографии Спинозы, где были описаны двое молодых людей (оставшиеся безымянными), которые вовлекали философа в разговоры с намерением побудить его раскрыть свои еретические взгляды. В скором времени Спиноза прервал контакт с ними, после чего они донесли на него рабби Мортейре и еврейской общине. Более ничего об этих двух мужчинах не известно – и может ли романист желать лучшего! – а некоторые из специалистов и вовсе подвергают сомнению достоверность подобного инцидента. Однако же он мог произойти на самом деле. Алчный Дуарте Гонсалес, которого я изобразил в роли дяди молодых людей, затаившего злобу против Спинозы, – реальная историческая фигура.

Мысли и идеи Спинозы, выражаемые в его спорах с Якобом и Франку, в основном взяты из его «Богословско-политического трактата». Вообще во всем романе я часто использовал фрагменты и цитаты из этой книги, а также из «Этики» и его личной переписки. Спиноза в роли хозяина лавки – плод фантазии, ибо сомнительно, чтобы он когда-либо занимался куплей-продажей. Его отец, Михаэль Спиноза, создал успешное импортно-экспортное торговое дело, которое к тому моменту, как Спиноза «вошел в возраст», уже переживало трудные времена.

Учитель Спинозы, Франциск Ван ден Энден, был замечательно обаятельным, энергичным, свободомыслящим человеком. Позже он перебрался в Париж и впоследствии был казнен по приказу Людовика XIV за участие в заговоре, имевшем целью свержение его монархии. Его дочь, Клару Марию, почти все биографы Спинозы описывают как очаровательную девочку-вундеркинда, которая, повзрослев, вышла замуж за Дирка Керкринка, соученика Спинозы по академии Ван ден Эндена.

Из немногих фактов, известных о Спинозе, наиболее достоверным является его исключение из общины, и я дословно воспроизвел официальный текст постановления об отлучении. Скорее всего, Спиноза никогда более не поддерживал контактов ни с одним евреем – и, разумеется, его продолжающаяся дружба с евреем Франку вымышлена от начала и до конца. Я представлял себе Франку человеком, далеко опередившим свою эпоху, предтечей Мордехая Каплана, первопроходца XX века в модернизации и секуляризации иудаизма. Остававшиеся на тот момент в живых брат и сестра Спинозы поддержали отлучение и прервали всякие отношения с братом. Ребекка, как я и писал, вновь ненадолго появилась в поле зрения историков после его смерти и попыталась предъявить права на имущество Спинозы. Габриель эмигрировал на один из Карибских островов и умер там от желтой лихорадки. Рабби Мортейра был выдающейся фигурой в еврейском обществе XVII века, и многие из его проповедей сохранились до наших дней.

Практически ничего не известно о том, какой эмоциональный отклик вызвало у Спинозы изгнание из общины. Мое описание его реакции полностью вымышлено – но, по-моему, это

вероятная реакция на радикальное отлучение от всего, что он знал в своей жизни. Города и дома, в которых жил Спиноза, его ремесло – шлифовка линз, его связи с коллегиями, дружба с Симоном де Врисом, анонимные публикации, библиотека и, наконец, обстоятельства его смерти и похорон – все это факты, зафиксированные в истории.

В части романа, посвященной XX веку, исторической точности больше. Однако Фридрих Пфистер – персонаж полностью беллетристический, и общение между ним и будущим нацистским рейхсляйтером Альфредом Розенбергом – плод моего воображения. Тем не менее, насколько я понимаю структуру личности Розенберга и знаю состояние психотерапии в начале XX столетия, подобные взаимодействия могли происходить на самом деле. В конце концов, как сказал Андре Жид, «история – это вымысел, который воплотился на деле. А вымысел – это история, которая могла воплотиться».

Документ, составленный одним из конфисковавших библиотеку Спинозы офицеров розенберговского АРР (Айнзацштаба рейхсляйтера Розенберга), содержал утверждение о том, что эта библиотека поможет нацистам разрешить «проблему Спинозы». Я не смог больше найти ни одного свидетельства, которое связывало бы воедино Розенберга и Спинозу. Но эта связь могла существовать: Розенберг воображал себя философом и, вне всякого сомнения, знал, что многие великие немецкие мыслители почитали Спинозу. Таким образом, фрагменты, связывающие Спинозу и Розенберга, тоже относятся к жанру «фикшн» (включая два посещения Розенбергом Музея Спинозы в Рейнсбурге). Во всем остальном, сообщая главные детали жизни Розенберга, я старался соблюдать точность. Мы знаем из его воспоминаний (написанных в тюремном заключении во время Нюрнбергского процесса), что в возрасте 16 лет его действительно «воспламенили» работы писателя-антисемита Хьюстона Стюарта Чемберлена. Этот факт лег в основу придуманного мною столкновения между подростком Розенбергом, директором Эпштейном и учителем Шефером.

Большая часть подробностей дальнейшей жизни Розенберга основана на исторических данных: это его семья, образование, браки, художественные устремления, жизнь и приключения в России, попытка вступить в германскую армию, побег из Эстонии в Берлин, а потом в Мюнхен, ученичество у Дитриха Эккарта, карьера редактора, отношения с Гитлером, роль в мюнхенском «пивном» путче, трехсторонняя встреча с Гитлером и Хьюстоном Стюартом Чемберленом, разнообразные посты в руководстве нацистов, писательские работы, Национальная премия и роль в Нюрнбергском процессе.

Я скорее могу поручиться за свое представление о внутренней жизни Розенберга, чем Спинозы, потому что в моем распоряжении было не в пример больше данных, почерпнутых из его собственных речей, автобиографических заметок, а также наблюдений и замечаний других людей. Он действительно дважды был госпитализирован в клинику Гогенлихен: на 3 недели в 1935 году и на 6 недель в 1936 году, по причинам, носившим – по крайней мере, отчасти – психиатрический характер. Письмо Чемберлена Гитлеру процитировано буквально, как и письмо доктора Гебхардта Гитлеру, описывающее личностные проблемы Розенберга (кроме заключительного параграфа, в котором идет речь о Фридрихе Пфистере). К слову, Гебхардт был повешен в 1948 году как военный преступник за свои медицинские эксперименты, проводившиеся в концентрационных лагерях. Все письма, газетные заголовки, приказы и речи воспроизведены с буквальной точностью. Описание попыток Фридриха проводить психотерапию с Альфредом Розенбергом основано на том, как я лично мог бы подойти к этой задаче – работать с таким человеком как Розенберг.

Глава 1

Амстердам, апрель 1656 г

Когда последние солнечные зайчики отскакивают от вод Званенбургваля¹, весь Амстердам закрывается. Красильщики собирают свои пурпурные и алые ткани, разложенные для просушки на каменных берегах канала. Торговцы скатывают навесы и запирают ставнями уличные палатки. Немногочисленный рабочий люд разбредается по домам; некоторые останавливаются, чтобы наскоро перекусить и выпить голландского джину у ларьков селедочников на канале, а потом продолжают свой путь. Жизнь в Амстердаме движется медленно: город скорбит, еще не оправившись от чумы, которая всего несколько месяцев назад отправила на тот свет каждого 9-го горожанина.

В нескольких метрах от канала, на Бреестраат, в доме номер 4, обанкротившийся и слегка подвыпивший Рембрандт ван Рейн в последний раз прикасается кистью к своей картине «Иаков благословляет сыновей Иосифа», ставит подпись в нижнем правом углу, швыряет на пол палитру и, развернувшись, начинает спускаться по узенькой винтовой лестнице. Дом Рембрандта, которому суждено через три столетия стать музеем и мемориалом художника, в тот день сделался свидетелем его позора. Он битком набит покупателями, предвкушающими аукцион, где все имущество Рембрандта пойдет с молотка. Хмуро растолкав по сторонам толпящихся на лестнице зевак, он выходит из парадной двери, вдыхает солоноватый воздух и, спотыкаясь, направляется к таверне на углу.

В Дельфте, в 70 километрах к югу от Амстердама, начинает всходить звезда другого художника. Двадцатипятилетний Ян Вермеер окидывает взглядом свою новую картину – «У сводни». Глаза его медленно скользят слева направо. Первая фигура – блудница в ослепительно-желтой блузе. Хорошо. Здорово! Желтый сияет, как полированный солнечный свет. И окружающие ее мужчины... Превосходно! – кажется, любой из них вот-вот сойдет с холста и заговорит. Он наклоняется ближе, чтобы поймать беглый, но пронзительный взор ухмыляющегося молодого человека в щегольской шляпе. Вермеер кивает своему миниатюрному двойнику. Весьма довольный, ставит в нижнем правом углу подпись с завитушкой.

А в это время в Амстердаме, в доме номер 57 по Бреестраат, в двух кварталах от дома Рембрандта, где идут приготовления к аукциону, один двадцатипятилетний купец готовится закрыть свою «импортно-экспортную» лавку (он родился всего несколькими днями ранее Вермеера, которым будет потом всячески восхищаться; хотя знакомству их состояться не суждено). Этот молодой человек кажется слишком хрупким и красивым для лавочника. Черты его лица правильны, смуглая кожа без изъянов, глаза – большие, темные, одухотворенные.

Он напоследок обводит лавку взглядом: многие полки так же пусты, как и его карманы. Пираты перехватили последний корабль из Байи² с партией товара, и теперь нет ни кофе, ни сахара, ни какао. Старшее поколение семейства Спиноза вело процветающую оптовую импортно-экспортную торговлю, а ныне у двоих братьев – Габриеля и Бенто – осталась лишь одна небольшая розничная лавка. Втянув ноздрями пыльный воздух, Бенто ощущает в нем омерзительную вонь крысиного помета, смешанную с ароматом сушеных фиг, изюма, засахаренного имбиря, миндаля, турецкого гороха и испарений острого испанского вина. Он выходит на улицу и приступает к ежедневной дуэли с заржавленным замком на двери лавки. Незнакомый голос, произносящий слова высокопарного португальского наречия, заставляет его вздрогнуть.

¹ Канал в Амстердаме.

² Портовый город в Бразилии.

– Это ты – Бенто Спиноза?

Спиноза оборачивается и видит двух незнакомцев, молодых людей, которые, судя по их утомленному виду, проделали немалый путь. Тот, что заговорил с ним, высок, его массивная крупная голова по-бычьему наклонена вперед, словно шее слишком тяжело держать ее прямо. Одежда его добротна, но покрыта пятнами и измята. Другой, одетый в крестьянские лохмотья, стоит позади своего спутника. У него длинные спутанные волосы, темные глаза, волевой подбородок и нос. Держится он зажато. Двигаются только глаза – мечутся из стороны в сторону, точно перепуганные головастики.

Спиноза с опаской кивает.

– Я – Якоб Мендоса, – говорит тот из них, что повыше. – Нам нужно было увидеть тебя. Мы должны поговорить с тобой. Это мой двоюродный брат, Франку Бенитеш, которого я только что привез из Португалии. Мой брат, – Якоб хлопает Франку по плечу, – в большой беде.

– Да? – настороженно отзывается Спиноза. – И что же?

– В очень большой беде.

– Так... И к чему же было искать меня?

– Нам сказали, что ты – тот, кто может нам помочь. Возможно, единственный, кто это может.

– Помочь?..

– Франку утратил всякую веру. Он во всем сомневается. Во всех ритуалах веры. В молитве. Даже в присутствии Божиим! Он все время боится. Не спит. Говорит, что убьет себя.

– И кто же ввел вас в заблуждение, направив ко мне? Я – всего лишь торговец, который ведет небольшое дело. И не слишком прибыльное, как ты можешь заметить. – Спиноза указывает на запыленную витрину, сквозь которую угадываются полупустые полки. – Рабби Мортейра – вот духовный глава. Вы должны пойти к нему.

– Мы прибыли вчера, а сегодня поутру так и хотели сделать. Но хозяин гостиницы, наш дальний родственник, отсоветовал. Он сказал: «Франку нужен помощник, а не судья». Он поведал нам, что рабби Мортейра суров с сомневающимися. Мол, рабби считает, что всех португальских евреев, обратившихся в христианство, ждет вечное проклятие, пусть даже они были принуждены сделать это, выбирая между крещением и смертью. «Рабби Мортейра, – сказал он, – сделает Франку только хуже. Идите и повидайте Бенто Спинозу. Он – дока в таких делах».

– Да что это за разговоры такие?! Я – простой торговец...

– Наш родственник утверждает, что, если бы не кончина старшего брата и отца, которая заставила тебя принять торговое дело, ты был бы следующим верховным раввином Амстердама.

– Я должен идти. У меня назначена встреча, которую я не могу пропустить.

– Ты идешь на службу в синагоге, да? Так мы тоже туда идем. Я веду с собою Франку, ибо он должен вернуть себе веру. Можем мы пойти с тобой?

– Нет, я иду на встречу иного рода.

– Это какого же? – спрашивает Якоб и тут же осаживает себя: – Прости. Это не мое дело... Может, встретимся завтра? Пожелаешь ли ты помочь нам в шаббат? Это разрешается, ведь это мицва³. Мы нуждаемся в тебе. Мой брат в опасности.

– Странно... – Спиноза качает головой. – Никогда еще я не слышал подобной просьбы. Простите, но вы ошибаетесь. Мне нечего вам предложить.

Франку, который все время, пока Якоб разговаривал с Бенто, стоял, уставившись в землю, вдруг поднимает глаза и произносит свои первые слова:

³ Мицва (ми. мицвот; «заповедь, повеление»; ивр.) – заповедь в иудаизме. В обиходной речи – добрый поступок, благодеяние. В отличие от практической деятельности, мицвот можно совершать и в шаббат.

– Я прошу о малом – только перемолвиться с тобою парой слов. Откажешь ли ты брату-еврею? Ведь это твой долг перед странником. Мне пришлось бежать из Португалии – как пришлось бежать твоему отцу и его семье, чтобы спастись от инквизиции.

– Но что я могу...

– Моего отца сожгли на костре ровно год назад. Знаешь, за какое преступление? Они нашли на нашем заднем дворе зарытые в землю страницы Торы! Брат моего отца, отец Якоба, тоже вскоре был убит. У меня есть вот какой вопрос. Подумай об этом мире, где сын вдыхает запах горящей плоти своего отца. Куда же подевался Бог, что создал такой мир? Почему Он позволяет это? Вiniшь ли ты меня за то, что я задаюсь такими вопросами? – Франку несколько мгновений пристально смотрит в глаза Спинозе, потом продолжает: – Уж наверняка человек, именуемый благословенным (Бенто – *по-португальски*, или Барух – *по-еврейски*), не откажет мне в разговоре?

Спиноза медленно и серьезно кивает.

– Я поговорю с тобою, Франку. Быть может, встретимся завтра днем?

– В синагоге? – уточняет Франку.

– Нет, здесь. Приходите сюда, в лавку. Она будет открыта.

– Лавка? Открыта?! – перебивает Якоб. – Но как же шаббат?

– Семейство Спиноза в синагоге представляет мой брат, Габриель.

– Но ведь священная Тора, – упорствует Якоб, не обращая внимания на Франку, который дергает его за рукав, – говорит, что Бог желает, чтобы мы не трудились в шаббат, дабы мы проводили этот святой день в молитвах к Нему и в совершении мицвот!

Спиноза, обращаясь к Якобу, говорит мягко, как учитель с юным учеником:

– Скажи мне, Якоб, веруешь ли ты, что Бог всемогущ?

Якоб кивает.

– Веруешь, что Бог совершенен? Что Он полон в себе?

И вновь Якоб соглашается.

– Тогда ты наверняка согласишься, что, по определению, совершенное и полное существо не имеет ни нужд, ни недостатков, ни потребностей, ни желаний. Разве не так?

Якоб задумывается, медлит, а затем осторожно кивает. Спиноза замечает, что уголки губ Франку начинают растягиваться в улыбке.

– Тогда, – продолжает Спиноза, – я заключаю, что Бог не имеет никаких желаний относительно того, *как* именно мы должны прославлять его – и даже не имеет желания, *чтобы* мы вообще его прославляли. Так позволь же мне, Якоб, любить Господа на свой собственный лад.

Глаза Франку округляются. Он поворачивается к Якобу, всем своим видом будто бы говоря: «Вот видишь, видишь?! Это тот самый человек, которого я ищу!»

Глава 2

Ревель, Эстония, 3 мая 1910 г

Время: 4 часа дня. Место: скамья в главном коридоре перед кабинетом директора Эпштейна в Петри-реалшколе.

На скамье ерзает шестнадцатилетний Альфред Розенберг, который теряется в догадках, пытаясь понять, зачем его вызвали в кабинет директора. Тело у Альфреда жилистое, глаза – серо-голубые, «тевтонское» лицо – благородных пропорций; прядь каштановых волос падает на лоб как бы небрежно – но именно так, как ему хочется. Вокруг глаз никаких темных кругов: они появятся позже. Подбородок вызывающе поднят. Вся его поза выглядит дерзкой, но кисти рук – то сжимающиеся в кулаки, то расслабляющиеся – выдают тревогу.

Альфред похож на любого юношу и одновременно не похож. Он – почти мужчина, и вся жизнь у него впереди. Через 8 лет он переберется из Ревеля⁴ в Мюнхен и станет плодовитым журналистом, антибольшевиком и антисемитом. Через 9 лет – услышит на митинге Немецкой рабочей партии зажигательную речь нового перспективного вождя, ветерана Первой мировой войны по имени Адольф Гитлер – и вступит в партию вскоре после Гитлера. Через двадцать – отложит в сторону ручку и победно улыбнется, закончив последнюю страницу своей книги «Миф двадцатого столетия». Эта книга, которой суждено стать бестселлером с миллионным тиражом, во многом обеспечит идеологический фундамент нацистской партии и даст обоснование уничтожению европейских евреев. Через 30 лет его солдаты ворвутся в маленький музей в голландском городке Рейнсбурге и конфискуют личную библиотеку Спинозы, состоящую из 159 томов. А через 36 лет в его глазах, обведенных темными кругами, мелькнет удивление, и он отрицательно покачает головой, когда американский палач в Нюрнберге спросит его: «Вы хотите сказать последнее слово?»

Юный Альфред слышит эхо приближающихся по коридору шагов и, заметив герра Шефера, своего наставника и учителя немецкого языка, вскакивает, чтобы приветствовать его. Герр Шефер только хмурится и качает головой, проходя мимо него и открывая дверь кабинета директора. Но, перед тем как войти, медлит, поворачивается к Альфреду и беззлобно шепчет:

– Розенберг, вы разочаровали меня – всех нас – своими убогими рассуждениями во вчерашней речи. Убогость этих рассуждений вовсе не перечеркивается тем, что вы были избраны старостой класса. И при всем том я продолжаю верить, что вы не совсем пропащий студент. Всего через несколько недель вам вручат аттестат. Так не будьте же сейчас дураком!

Речь на выборах вчера вечером! Так *вот*, значит, в чем дело! Альфред хлопает себя по лбу ладонью. Ну, конечно, – **потому-то** его сюда и вызвали. Хотя там присутствовали почти все 40 учащихся его старшего класса – в основном балтийские немцы, слегка разбавленные русскими, эстонцами, поляками и евреями, – Альфред подчеркнуто обратил свои предвыборные комментарии к немецкому большинству и возбудил дух однокашников, говоря об их миссии как хранителей благородной германской культуры. «Сохраним нашу расу чистой, – говорил он им. – Не ослабляйте ее, забывая наши благородные традиции, усваивая неполноценные идеи, смешиваясь с неполноценными расами!» Вероятно, на этом ему следовало остановиться. Но его занесло. Наверно, он зашел слишком далеко...

Его раздумья прерывает скрип открывшейся массивной, десяти футов⁵ в высоту, двери и гулкий голос директора Эпштейна:

⁴ Ревель – ныне Таллин.

⁵ В футах – 30,48 см.

– *Herr Rosenberg, bitte, herein!*⁶

Альфред входит в кабинет и видит директора и учителя немецкого, сидящих в дальнем конце длинного стола из темного тяжелого дерева. Альфред всегда чувствовал себя маленьким в присутствии директора Эпштейна – мужчины более шести футов ростом, чья горделивая осанка, пронзительный взгляд и окладистая, хорошо ухоженная борода символизировали собою его властный авторитет.

Директор Эпштейн жестом велит Альфреду сесть в кресло на конце стола. Это кресло заметно меньше размером, чем два кресла с высокими спинками, которые занимают оппоненты Альфреда. Директор не тратит времени зря и сразу приступает к делу:

– Итак, Розенберг, значит, я родом еврей, так, по-вашему? И моя жена тоже еврейка, не так ли? И евреи – неполноценная раса и не должны учить немцев? И, как я понимаю, определенно не должны дослуживаться до должности директора?

Нет ответа. Альфред выдыхает, пытается поглубже вдвинуться в кресло и опускает голову.

– Розенберг, верно ли я излагаю вашу позицию?!

– Господин... э-э, господин директор, я слишком спешил и не обдумывал свои слова. Такие замечания упоминались мною лишь в самом общем смысле. Это была предвыборная речь, и я говорил так потому, что именно это они хотели услышать.

Краем глаза Альфред видит, как герр Шефер горбится в своем кресле, снимает очки и потирает глаза.

– О, понимаю. Значит, вы говорили в *общем* смысле? Но теперь вот он я перед вами – и не в общем смысле, а очень даже в частном!

– Господин директор, я говорю только то, что думают все немцы, – что мы должны сохранить нашу расу и нашу культуру.

– А как же быть со мной и с евреями?

Альфред вновь молча склоняет голову. Его так и тянет уставиться в окно, расположенное точно напротив середины стола, но он опасливо поднимает глаза на директора.

– Да уж, конечно, как же отвечать на такой вопрос! Может быть, у вас развяжется язык, если я скажу, что моя родословная и родословная моей жены – чисто немецкие, и наши предки пришли в эти места в XIV столетии? Более того, мы преданные лютеране!

Альфред медленно кивает.

– И тем не менее вы называли меня и мою жену евреями! – продолжает директор.

– Я этого не говорил. Я только сказал, что ходят слухи...

– Слухи, которые вы с готовностью распространяете ради своего собственного преимущества на выборах! А скажите-ка мне, Розенберг, на каких фактах основываются эти слухи? Или они просто взяты из воздуха?

– Факты? – Альфред мотает головой. – Э-э... ну, может быть, ваша фамилия?

– Так, значит, Эпштейн – это еврейская фамилия? Все Эпштейны – евреи, вы это хотите сказать? Или 50 процентов? Или только некоторые? Или, может быть, один на тысячу? Что показали вам ваши научные изыскания?

Нет ответа. Альфред качает головой.

– Вы имеете в виду, что, несмотря на все свои познания в науке и философии, приобретенные в нашем училище, вы даже не задумываетесь о том, откуда знаете то, что знаете. Не это ли – один из главных уроков эпохи Просвещения? Мы что же, плохо вас учили? Или это вы плохо учились у нас?

Альфред ошарашен. Герр Эпштейн барабанит пальцами по столу, потом вопрошает:

– А ваша фамилия, Розенберг? Ваша фамилия – тоже еврейская?

⁶ Господин Розенберг, пожалуйста сюда (*нем.*).

– Я уверен, что нет!

– А вот я в этом не так уверен. Позвольте мне сообщить вам некоторые факты насчет фамилий. В эпоху Просвещения в Германии... – Директор Эпштейн умолкает, а потом рывкает: – Розенберг, знаете ли вы, когда было Просвещение и что это такое?

Бросив взгляд на герра Шефера, с мольбой в голосе, Альфред робко, полувопросительно отвечает:

– В XVIII веке и... и это была эпоха... эпоха разума и науки?

– Да, именно так. Хорошо. Не все наставления герра Шефера были потрачены на вас зря.... В конце этого столетия в Германии были приняты меры по превращению евреев в немецких граждан, и они были принуждены выбрать себе немецкие фамилии – и заплатить за них. Если они отказывались платить, то могли получить фамилии-насмешки, такие как Шмуцфингер⁷ или Дреклекер⁸. Большинство евреев соглашались заплатить за более приятную или элегантную фамилию, к примеру – цветочную, вроде Розенблюма⁹, или ассоциировавшуюся с природой, наподобие Гринбаума¹⁰. Еще популярнее были названия благородных замков. Например, название замка Эпштейн имело благородные коннотации, поскольку он принадлежал знатнейшему семейству Великой Римской империи, и эту фамилию часто выбирали евреи, жившие в окрестностях замка в XVIII столетии. Некоторые евреи платили меньшие суммы за традиционные еврейские фамилии, вроде Леви или Коген. Ваша фамилия, Розенберг, тоже очень древняя. Но уже более ста лет она живет новой жизнью. Она стала распространенной еврейской фамилией в нашем отечестве – и, уверяю вас, если вы предпримете поездку в Германию, то увидите косые взгляды и ухмылки и услышите толки о еврейских предках в вашей родословной. Скажите мне, Розенберг, как вы станете на них отвечать, если такое произойдет?

– Я последую вашему примеру, господин директор, и расскажу о своей родословной!

– Я-то лично проводил исследование генеалогии моей семьи за несколько столетий. А вы?

Альфред отрицательно качает головой.

– Вы знаете, как проводят такие исследования?

Снова отрицательный жест.

– В таком случае одной из ваших обязательных исследовательских работ перед выпуском будет выяснение генеалогических деталей, а затем – проведение изысканий по вашей собственной родословной.

– Одной из моих работ, господин директор?

– Да, потребуется выполнить два обязательных задания, чтобы снять любые мои сомнения относительно вашей готовности к получению аттестата, равно как и вашей пригодности к поступлению в Политехнический институт. После нашей сегодняшней беседы, мы – герр Шефер и я – примем решение относительно второго познавательного задания.

– Да, господин директор.

До Альфреда начинает доходить, насколько рискованно его положение.

– Скажите мне, Розенберг, – интересуется директор, – знали ли вы, что на митинге вчера вечером присутствовали евреи?

Альфред чуть заметно наклоняет голову. Эпштейн продолжает:

– А принимали ли вы во внимание их чувства и реакцию на ваши слова о том, что евреи недостойны учиться в этом училище?

⁷ Грязный палец (нем.).

⁸ Дерьмояд (нем.).

⁹ Розовый цвет (нем.).

¹⁰ Зеленое дерево (нем.).

– Я полагаю, что мой первейший долг – думать об отечестве и защищать чистоту нашей великой арийской расы, созидательной силы всей цивилизации.

– Розенберг, выборы закончились – избавьте меня от речей! Отвечайте на мой вопрос. Я спрашивал о чувствах евреев, бывших среди вашей аудитории.

– Я считаю, что, если мы не будем настороже, еврейская раса повергнет нас. Они слабы. Они – паразиты. Вечный враг! Антираза, противостоящая арийским ценностям и культуре!

Удивленные горячностью Альфреда, директор Эпштейн и герр Шефер обмениваются обеспокоенными взглядами. Директор решает копнуть глубже.

– Кажется, вы желаете увильнуть от моего вопроса. Хорошо, я зайду с другой стороны. Значит, евреи – слабая, паразитическая, неполноценная жалкая раса?

Альфред согласно кивает.

– Так скажите же мне, Розенберг, каким образом может столь слабая раса быть угрозой нашей всемогущей арийской расе?

Пока Альфред пытается сформулировать ответ, Эпштейн продолжает допытываться:

– Скажите мне, Розенберг, вы изучали Дарвина в классе герра Шефера?

– Да, – отвечает Альфред, – в курсе истории у герра Шефера, а также у герра Вернера, в курсе биологии.

– И что вы помните из Дарвина?

– Я знаю об эволюции видов и о выживании наиболее приспособленных.

– Ах, да, наиболее приспособленные! И вы, конечно же, старательно читали Ветхий Завет на уроках закона Божия?

– Да, в курсе герра Мюллера.

– Тогда, Розенберг, давайте задумаемся о том факте, что почти все народы и культуры, описанные в Библии – а их были десятки, – вымерли. Так?

– Так, господин директор.

– Можете ли вы поименовать некоторые из этих народов?

У Альфреда пересыхает в горле.

– Финикийцы, моавитяне... еще идумеи... – Альфред бросает взгляд на герра Шефера, который одобритительно кивает головой в такт.

– Превосходно. Итак, все они вымерли и исчезли. Кроме евреев. Евреи выжили. Разве не сказал бы Дарвин, что евреи – самые приспособленные из всех? Вы следите за моей мыслью?

Ответ Альфреда быстр, как молния:

– Но не благодаря собственной силе! Они были паразитами и не давали арийской расе стать еще более приспособленной. Они выживают только за счет того, что сосут из нас силы, золото и блага.

– Ай-яй-яй, значит, они нечестно играют! – подхватывает директор Эпштейн. – То есть вы полагаете, что в великом плане природы правит честность. Иными словами, благородное животное в своей борьбе за выживание не должно использовать защитную окраску или охотничье подкрадывание? Странно! Что-то я ничего такого о честности в, дарвиновских, работах не припоминаю!

Альфред, озадаченный, сидит молча.

– Что ж, не будем об этом, – говорит директор. – Давайте рассмотрим другой момент. Вы, Розенберг, наверняка согласитесь, что еврейская раса производила на свет великих людей. Подумайте о Господе нашем Иисусе, который был урожденным евреем.

И вновь Альфред не медлит с ответом:

– Я читал, что Иисус был рожден в Галилее, а не в Иудее, где жили евреи. И пусть некоторые галилеяне со временем пришли к исповеданию иудаизма, у них не было ни единой капли крови сынов израильских.

– Что?! – Директор Эпштейн воздевает руки и, повернувшись к Шеферу, вопрошает: – Откуда берутся такие представления, герр Шефер? Будь на его месте взрослый, я спросил бы, что он накануне пил! Этому вы учите их в курсе истории?

Герр Шефер отрицательно качает головой и поворачивается к Альфреду:

– Где вы набрались этих идей? Вы говорите, что читали о них – но не в моем же классе! Что вы такое читаете, Розенберг?

– Благородную книгу, господин Шефер. «Основы девятнадцатого века»¹¹.

Герр Шефер хлопает себя по лбу и оседает в кресле.

– Это еще что такое? – осведомляется директор Эпштейн.

– Книга Хьюстона Стюарта Чемберлена, – отвечает герр Шефер. – Он англичанин, зять покойного Вагнера¹². Пишет воображаемую историю, то есть историю, которую сочиняет на ходу, – он оборачивается к Альфреду. – Откуда вы взяли книгу Чемберлена?

– Я начал читать ее в доме моего дяди, а потом пошел в книжную лавку через улицу, чтобы купить эту книгу. У них ее не было, но они заказали для меня экземпляр. Я читал ее весь прошлый месяц.

– Какой энтузиазм! Я мог бы лишь пожелать, чтобы вы с таким же рвением относились к своим учебным текстам, – съязвил герр Шефер, широким жестом обводя уставленную полками с переплетенными в кожу книгами стену директорского кабинета. – Да что там, хоть бы и к одному учебнику!

– Герр Шефер, – окликнул его директор, – вы знакомы с работой этого... Чемберлена?

– Настолько, насколько стоит быть знакомым с любым псевдоисториком. Он – популяризатор Артура Гобино, французского расиста, чьи писания об изначальном превосходстве арийских рас повлияли на Вагнера. Оба, и Гобино, и Чемберлен, выдвигают экстравагантные утверждения о ведущей роли арийцев в великих цивилизациях, древнегреческой и римской...

– Они *были* великими! – внезапно перебивает Альфред. – Пока не смешались с неполноценными расами – с мерзкими евреями, с неграми, с азиатами. И тогда наступал закат каждой из этих цивилизаций.

И директор, и герр Шефер ошеломлены тем, что студент осмелился прервать их разговор. Директор с упреком глядит на герра Шефера, будто это он провинился.

Герр Шефер переводит стрелки на своего ученика:

– Вот бы он проявлял столько горячности в классе! – и поворачивается к Альфреду: – Сколько раз я говорил это вам, Розенберг? Вас, кажется, совсем не интересует ваше образование. Ведь сколько я пытался побудить вас к участию в наших чтениях! А сегодня – пожалуйста, так и пишите жаром из-за какой-то книжки! Как прикажете это понимать?

– Возможно, я просто никогда прежде не читал таких книг – книг, которые говорят правду о благородстве нашей расы, о том, что ученые ошибочно смотрели на историю как на прогресс человечества. А истина в том, что именно наша раса создала цивилизацию во всех великих империях! Не только в Греции и Риме, но также в Египте, Персии и даже в Индии. Каждая из этих империй рушилась только тогда, когда нашу расу загрязняли соседние неполноценные расы.

Альфред переводит взгляд на директора и говорит со всей возможной почтительностью:

– Если позволите, господин директор, это был ответ на ваш первый вопрос. Вот поэтому меня не беспокоят уязвленные чувства пары-тройки студентов-евреев – или славян, которые тоже неполноценны, но не так организованны, как евреи.

¹¹ Позже с легкой руки Розенберга, ставшего главным редактором «Фёлькишер беобахтер», официального органа нацистской партии, эту книгу станут называть «Библией движения». Гитлер в период написания «Моей борьбы» также вдохновлялся ее идеями.

¹² В 1908 г. Чемберлен, страстный поклонник творчества композитора Рихарда Вагнера, женился на его дочери Еве и поселился в резиденции Вагнера в Байрейте.

Директор Эпштейн и герр Шефер снова обмениваются взглядами, теперь уже по-настоящему встревоженные серьезностью возникшей проблемы. Перед ними больше не озорной мальчишка, не запальчивый подросток.

Директор говорит:

– Розенберг, пожалуйста, подождите снаружи. Нам нужно посоветоваться наедине.

Глава 3

Амстердам, 1656 г

Йоденбреестраат¹³ в сумерках перед шаббатом была запружена евреями. У каждого в руках был молитвенник и маленький бархатный мешочек с молитвенной накидкой. Все амстердамские сефарды¹⁴ направлялись к синагоге – все, кроме одного. Заперев дверь своей лавки, Бенто постоял на пороге, долгим взглядом окинул поток собратьев-евреев, сделал глубокий вдох и нырнул в толпу, направляясь в противоположную сторону. Он избегал встречных взглядов и шептал сам себе утешения, чтобы унять уколы совести: *«Никто ничего не замечает, всем все равно. Имеет значение чистая совесть, а не репутация. Я делал это уже много раз»*. Но мчащееся вскачь сердце было неуязвимо для жалкой шпажки логики. Тогда он попытался отгородиться от внешнего мира, погрузиться внутрь и отвлечь себя наблюдением за этой любопытной дуэлью между логикой и эмоциями – дуэлью, в которой логика всегда терпела поражение.

Когда толпа поредела, он зашагал свободнее и свернул налево, на улочку, бегущую вдоль канала Конигсграхтвест¹⁵ по направлению к дому и учебному заведению Франциска ван ден Эндена, *экстраординарного профессора*¹⁶ латыни и классической литературы.

Хотя встреча с Якобом и Франку была событием примечательным, несколькими месяцами ранее в лавке Спинозы состоялась еще более памятная встреча – когда в нее впервые зашел Франциск ван ден Энден. По дороге Бенто развлекал себя, вспоминая ту встречу. Детали ее запечатлелись в его памяти с абсолютной ясностью.

На улице почти стемнело. Канун шаббата. Упитанный, строго одетый мужчина средних лет с повадкой, выдающей в нем человека светского, входит в его лавку и принимается осматривать товары. Бенто слишком поглощен очередной записью в своем дневнике, чтобы обратить внимание на посетителя. Наконец ван ден Энден вежливо покашливает, чтобы обозначить свое присутствие, а потом решительно, но добродушно, говорит:

– Молодой человек, вы ведь не слишком заняты, чтобы позаботиться о покупателе, не так ли?

Роняя на полуслове перо, Бенто вскакивает с места.

– Слишком занят? Едва ли, менеер¹⁷. Вы – первый посетитель за весь день. Прошу, простите мою невнимательность. Чем могу служить?

– Мне бы хотелось литр вина и, пожалуй, килограмм вон того сушеного изюма из нижней корзины – но это смотря сколько он стоит.

Пока Бенто кладет на одну чашу весов свинцовую гирьку, а на другую насыпает истертым деревянным совком изюм, уравновешивая чаши, Ван ден Энден добавляет:

¹³ Другое название Бреестраат (букв. «еврейская широкая улица»), улицы в еврейском квартале Амстердама.

¹⁴ Сефарды – субэтническая группа евреев Пиренейского полуострова.

¹⁵ Канал Сингел до XV в. именовался Стедеграхт (городской канал), в XVII в. был ненадолго переименован в Конигсграхт (канал короля) в честь Генриха IV, союзника Голландской республики.

¹⁶ Экстраординарный профессор занимает подчиненную должность по отношению к ординарному профессору и получает меньший оклад.

¹⁷ Сударь (*нидерл.*).

– Но я оторвал вас от письма. Какое это приятное и необычное – нет, более чем необычное: единственное в своем роде – событие: зайти в лавку и наткнуться на молодого служащего, который столь поглощен своим ученым занятием, что даже не замечает присутствия покупателей! Будучи учителем, я обыкновенно сталкиваюсь с противоположным опытом. Мои студенты, когда я застаю их врасплох, не пишут и не размышляют, хотя им-то как раз следовало бы это делать.

– Торговля идет скверно, – поясняет Бенто. – Вот я и сижу здесь час за часом, и мне нечем заняться, кроме как думать и писать.

Посетитель указывает на дневник Спинозы, по-прежнему открытый на той странице, где осталось неоконченное предложение.

– Позвольте, я попробую угадать, что вы пишете. Дела идут скверно... несомненно, вас беспокоит судьба ваших товаров... Вы заносите в свой журнал расходы и доходы, подбиваете баланс и перечисляете возможные решения проблем. Верно?

Бенто, побагровев, торопливо переворачивает дневник вверх обложкой.

– Не стоит прятаться от меня, юноша. Я понаторел в мастерстве сыщика и умею хранить секреты. И меня тоже порой посещают запретные мысли. Более того, по профессии я – учитель риторики и, вне всякого сомнения, мог бы усовершенствовать ваши навыки в письме.

Спиноза протягивает ему дневник и спрашивает с оттенком иронии:

– Насколько хорош ваш португальский, менеер?

– Португальский! Вот тут-то вы меня и поймали, юноша. Голландский – да. Французский, английский, немецкий – да. Да – латынь и греческий. Я даже немного знаком с испанским и поверхностно – с ивритом и арамейским. Но португальский – это не про меня. Вы превосходно говорите по-голландски. Почему бы вам не писать на нем? Вы же наверняка местный уроженец?

– Да. Мой отец эмигрировал из Португалии еще ребенком. И хотя я пользуюсь голландским в своих коммерческих сделках, в письме на этом языке я не силен. Иногда еще пишу на испанском. И в совершенстве знаю иврит.

– Всегда мечтал прочесть Священное Писание на его родном языке! К несчастью, у иезуитов я смог получить весьма скудную подготовку в иврите... Но вы еще не ответили на мой вопрос по поводу того, что вы пишете.

– Ваше умозаключение о подведении баланса и улучшении продаж основано, как я понимаю, на моем замечании о том, что торговля идет со скрипом? Логичный дедуктивный вывод – но в данном случае совершенно неверный. Мои мысли редко задерживаются на делах, и я никогда не пишу о них.

– О, так, значит, я ошибся! Но прежде чем мы вернемся к теме ваших писаний, прошу, позвольте мне одно маленькое отступление, педагогический комментарий – привычка, что

поделать. Ваше употребление слова «дедуктивный» неверно. Процесс логического построения на основе конкретных наблюдений, дабы вывести из них рациональное умозаключение; иными словами, построение теории на разрозненных фактах – это индукция. А дедукция начинается с теории а priori¹⁸ и выстраивает логическую цепочку вниз, к ряду умозаключений.

Мысленно отметив задумчивый, а возможно – и благодарный кивок Спинозы, ван ден Энден продолжает:

– Если это не деловые заметки, юноша, то что же такое вы пишете?

– Просто то, что вижу из окна своей лавки.

Ван ден Энден поворачивается, проследив за взглядом Бенто, устремленным на людную улицу.

– Глядите: все пребывают в движении. Суетятся, бегают взад-вперед целый день, всю жизнь. Ради какой цели? Ради богатства? Славы? Радостей плоти? Безусловно, все эти цели представляют собою тупики.

– Почему же?

Бенто уже сказал все, что хотел сказать, но вопрос покупателя придает ему храбрости, и он продолжает:

– Такие цели обладают способностью к самовоспроизводству. Всякий раз, как цель достигнута, она лишь множит дополнительные потребности. А значит – еще больше суеты, больше стремлений, и так ad infinitum¹⁹. Путь к непреходящему счастью должен лежать где-то в иной области. Вот о чем я думаю и пишу.

Бенто густо краснеет. Никогда прежде он ни с кем не делился такими мыслями.

Черты посетителя выражают живейшую заинтересованность. Он откладывает в сторону свою сумку с покупками и вглядывается в лицо Бенто...

Вот это был момент – всем моментам момент! Бенто любил это воспоминание, этот изумленный взгляд, это новое, иное любопытство и уважение, отразившиеся на лице незнакомца. И какого незнакомца! Посланца огромного внешнего, нееврейского мира. Человека значительного. Оказалось, от этого воспоминания не так-то просто отделаться. Бенто воображал эту сцену по второму, а бывало – и по третьему, и по четвертому разу. И как только она всплывала перед его глазами, на них наворачивались слезы. Профессор, изысканный, светский человек проявил к нему интерес, воспринял его всерьез, возможно, подумал: «Вот выдающийся юноша!»

Бенто с усилием оторвался от своего «звездного часа» и продолжал вспоминать их первую встречу.

Посетитель не отстаёт:

¹⁸ До проверки, заранее, независимо от опыта (лат.).

¹⁹ До бесконечности (лат.).

– Вы говорите, что непреходящее счастье заключается в чем-то другом. Расскажите мне об этом «другом».

– Я знаю только, что оно заключается не в бранных вещах. Оно кроется не вовне, а внутри. Это душа определяет, что внушает человеку страх, что ничего не стоит, что желанно, что ценно – и следовательно, душу, и только душу следует изменять.

– Как ваше имя, юноша?

– Бенто Спиноза. На иврите меня зовут Барухом.

– А по-латыни ваше имя – Бенедикт... Прекрасное, благословенное имя! Я – Франциск ван ден Энден. Руководжу Академией классического образования. Спиноза, говорите вы... хмм, от латинского *spina* и *spinosus*, что соответственно означает «шип» или «полный тернийев».

– *D'espinhosa* по-португальски, – говорит Бенто, кивая, – «из места, заросшего терновником».

– Да, вопросы, коими вы задаетесь, вполне могут воткнуть пару шипов в неудобное место ортодоксальным наставникам-доктринерам! – губы ван ден Эндена изгибаются в озорной усмешке. – Признайтесь-ка мне, юноша, случилось вам быть колючкой в седалище своих учителей?

Бенто ухмыляется в ответ:

– Да, как-то раз было. Но теперь я освободил учителей от своего присутствия. Вся моя колючесть достается дневнику. Такие вопросы, как мои, не приветствуются в обществе, пропитанном суевериями.

– Да, суеверия и логика никогда близко не приятельствовали. Но, возможно, я мог бы представить вас вашим единомышленникам. Вот, например, человек, с которым вам следовало бы свести знакомство, – ван ден Энден запускает руку в свою сумку, вынимает из нее издававший видь том и передает его Бенто. – Имя этого человека – Аристотель, и эта книга содержит его исследования по вопросам как раз такого рода, как ваши. Он также рассматривает душу и стремление к совершенствованию разума как высшее и уникальное человеческое занятие. «Никомахова этика» Аристотеля непременно должна стать одним из ваших последующих уроков.

Бенто подносит книгу к лицу и вдыхает ее запах, прежде чем открыть.

– Я знаю об этом ученом муже и был бы рад познакомиться с ним. Но, увы, мы не смогли бы побеседовать. Я совершенно не знаю греческого.

– В таком случае и греческий должен стать частью вашего образования. Конечно, уже после того, как вы овладеете латынью. Какая жалость, что ваши ученые раввины так мало знают классиков! Их кругозор настолько узок, что они часто забывают, что и неевреи тоже заняты поиском мудрости.

Бенто отвечает мгновенно – как всегда, когда нападают на его соплеменников, делаясь истинным евреем:

– Это неправда! И рабби Менаше, и рабби Мортейра читали Аристотеля в латинском переводе. А Маймонид считал Аристотеля величайшим из философов!

Ван ден Энден расправляет плечи.

– Отлично сказано, юноша, отлично! Считайте, что благодаря этому своему ответу вы прошли мое вступительное испытание. Такая верность по отношению к прежним учителям побуждает меня теперь же сделать вам формальное предложение обучаться в моей академии. Пришло время не только узнать об Аристотеле, но и познакомиться с ним самим. Я могу помочь вам познать его – наряду с целым миром его товарищей, таких как Сократ, Платон и многие другие.

– Ах, но ведь обучение в вашей академии платное? Как я уже сказал, дела у нас идут скверно.

– Мы достигнем обоюдовыгодного соглашения. К примеру, поглядим, какой из вас получится учитель иврита. И я, и моя дочь желаем усовершенствовать наш иврит. А может быть, мы обнаружим и другие формы взаимного обмена. Пока же... предлагаю вам добавить килограмм миндаля к моему вину и изюму – и теперь уже не сушеному: давайте-ка попробуем во-он те толстенькие изюминки с верхней полки.

* * *

Воспоминания о том, как началась его новая жизнь, были настолько притягательны, что замечтавшийся Бенто на несколько кварталов промахнулся мимо своего места назначения. Вздвогнув, пришел в себя, быстро сориентировался и вернулся по собственным следам к дому ван ден Эндена – узкому четырехэтажному зданию, выходящему на Сингел. Поднимаясь на верхний этаж, где проходили занятия, Бенто, как всегда, останавливался на каждой площадке и заглядывал в жилые помещения. Затеяливо выложенный плиткой пол на первой площадке, окаймленный рядом бело-голубых изразцов с дельфтскими ветряными мельницами, был ему знаком и не вызвал особого интереса.

На втором этаже ароматы кислой капусты и острого карри напомнили ему, что он опять забыл пообедать – как, впрочем, и поужинать.

Минуя третий, он не стал задерживать взгляд на поблескивающей струнами арфе и гобеленах музыкальной комнаты, но, как всегда, залюбовался множеством живописных полотен, которыми были увешаны все стены. Несколько минут Бенто стоял, разглядывая небольшую картину, изображавшую лодку, причаленную к берегу. Особенно понравилась ему перспектива, которую обеспечивали большие фигуры на берегу и две поменьше – в лодке, одна из которых стояла у руля, а другая, еще меньше, сидела на веслах, и он сделал мысленную заметку снять с этого холста копию углем тем же вечером, позже.

На четвертом этаже его приветствовали ван ден Энден и шестеро других учащихся академии, один из которых еще изучал латынь, а остальные перешли к греческому. Ван ден Энден начал вечер, как всегда, латинской диктовкой, которую студенты должны были перевести либо на голландский, либо на греческий. Надеясь заразить своих учеников любовью к овладению новыми языками, ван ден Энден давал им специально подобранные отрывки из текстов, кото-

рые могли и заинтересовать их, и позабавить. В течение последних трех недель в этой роли выступал Овидий, а сегодня ван ден Энден прочел отрывок из легенды о Нарциссе.

В отличие от остальных студентов, Спиноза не проявлял особого интереса к волшебным сказкам или фантастическим метаморфозам. Вскоре стало очевидно, что в развлечениях новый ученик не нуждается. Притом он испытывал настоящую страсть к учению и демонстрировал такие способности к языкам, от которых дух захватывало. Хотя ван ден Энден сразу же понял, что Бенто – выдающийся талант, он не уставал поражаться тому, как его ученик схватывал и запечатлял в памяти любую концепцию, любое общее правило и каждое грамматическое исключение еще до того, как объяснения успевали слететь с уст учителя.

Ежедневное занятие латинской зубрежкой проходило под надзором дочери ван ден Эндена – Клары Марии, долговязой, худощавой девушки с привлекательной улыбкой и искривленным позвоночником. Когда Бенто начал заниматься в академии, ей было всего 13 лет. Клара была вундеркиндом в языках и без всякого стеснения демонстрировала свои таланты, свободно переходя с одного языка на другой, пока они с отцом обсуждали сегодняшнее задание каждого студента. Поначалу Клара Мария вызвала у Бенто настоящее потрясение. Одним из иудейских догматов, который он никогда не подвергал сомнению, была неполноценность женщин – с точки зрения их прав и интеллекта. Да, Клара Мария ошеломила Бенто, но он считал ее исключением, причудой природы и так до конца жизни и не изменил своего мнения о том, что женщины в целом – интеллектуально низшие существа.

Как только ван ден Энден покинул класс вместе с пятью студентами, занимавшимися греческим, Клара Мария, с серьезностью почти комической для полуребенка-полудевушки, начала гонять Бенто и немецкого студента Дирка Керкринка по словарю и склонениям, заданным им в качестве домашней работы. Дирк изучал латынь, поскольку знание ее было обязательным требованием для поступления в медицинскую школу Гамбурга. После словарных упражнений Клара Мария попросила Бенто и Дирка перевести на латынь популярное голландское стихотворение Якоба Катса о поведении, подобающем молодой незамужней женщине, которое продекламировала им вслух чарующим голосом. Когда Дирк, а следом за ним и Бенто, зааплодировали ее исполнению, она разулыбалась, поднялась из-за стола и присела в книксене.

Заключительная часть вечера всегда была для Бенто долгожданным гвоздем программы. Все восемь студентов перешли в большой класс – единственный, в котором были окна, – чтобы послушать лекцию ван ден Эндена об античном мире. Темой, избранной им на этот вечер, было представление греков о демократии, по его мнению – наиболее совершенной форме правления, хотя (прежде чем сказать это, он бросил взгляд на дочь, которая присутствовала на всех его занятиях) «греческая демократия не охватывала более 50 процентов населения, а именно – женщин и рабов». Чуть помешкав, ван ден Энден продолжил:

– Давайте рассмотрим парадоксальное положение женщин в греческом театре. С одной стороны, гречанкам либо вообще запрещалось посещать представления, либо (позднее, в более просвещенные столетия) их допускали в амфитеатры, но лишь на те места, с которых сцену было видно хуже всего. А с другой стороны, подумайте о классических персонажах – женщинах со стальным характером, которые были прототипами героинь величайших трагедий Софокла и Еврипида. Позвольте мне кратко описать три наиболее потрясающих женских образа во всей литературе: Антигону, Федру и Медею...

После лекции, во время которой ван ден Энден просил Клару Марию прочесть несколько самых драматических реплик Антигоны по-гречески и по-голландски, он велел Бенто на несколько минут задержаться.

– Мне надо обсудить с тобой пару вопросов, Бенто. Прежде всего помнишь ли ты мое предложение, сделанное при нашей первой встрече в твоей лавке? Мое предложение познакомиться тебя с мыслителями – твоими единомышленниками? – Бенто ответил утвердительно, и ван ден Энден продолжал: – Я не забыл об этом и начинаю исполнять свое обещание. Твои

успехи в латыни выше всяких похвал, и мы ныне обратимся к языку Софокла и Гомера. На следующей неделе Клара Мария начнет учить тебя греческому алфавиту. Скажу больше, я подобрал тексты, которые должны представлять для тебя особый интерес. Мы будем работать над отрывками из Аристотеля и Эпикура, имеющими прямое отношение к тем самым вопросам, интерес к которым ты выказал при нашей первой встрече.

– Вы имеете в виду мои дневниковые записи о целях бранных и нетленных?

– Именно. А ради совершенствования в латыни предлагаю тебе отныне вести свой дневник на этом языке.

Бенто согласно кивнул.

– И еще одно, – продолжал ван ден Энден, – Клара Мария и я готовы начать занятия ивритом под твоим руководством. Удобно ли тебе приступить к делу на следующей неделе?

– С радостью, – ответил Бенто. – Это доставит мне большое удовольствие, а также позволит отчасти уплатить мой великий долг перед вами.

– Тогда, может быть, пора подумать о педагогических методах. Есть ли у тебя опыт учителя?

– Три года назад рабби Мортейра просил меня помочь ему в обучении ивриту младших учеников. Я набросал тогда немало заметок о сложностях, существующих в иврите, и надеюсь когда-нибудь написать его грамматику.

– Превосходно! Будь уверен, у тебя будут рьяные и внимательные ученики.

– Интересное совпадение, – задумчиво добавил Бенто, – как раз сегодня ко мне обратились с еще одной просьбой о педагогических услугах – и довольно странной. Двое мужчин, один из которых едва не обезумел от свалившегося на них горя, несколько часов назад пришли ко мне и пытались уговорить стать для них своего рода советником...

И Бенто перешел к рассказу о подробностях встречи с Якобом и Франку.

Ван ден Энден слушал внимательно и, когда Бенто закончил, сказал:

– Сегодня я хочу добавить в твой латинский словарь еще одно слово. Пожалуйста, запиши его: *caute*. Можешь догадаться о его значении по испанскому *cautela*.

– Да, это значит «осторожность». И по-португальски – тоже. Но почему я должен осторожничать?

– Будь добр, говори по-латыни.

– *Quod cur caute?*

– У меня есть один соглядатай, который доносит мне, что твои еврейские друзья недовольны тем, что ты учишься у меня. Очень недовольны. И еще они недовольны тем, что ты все больше сторонись своей общины. *Caute*, мальчик мой! Позаботься о том, чтобы не доставлять им дальнейших огорчений. Не доверяй никаким незнакомцам свои сокровенные мысли и сомнения. А на следующей неделе поглядим, не найдется ли для тебя полезного совета у Эпикура.

Глава 4

Ревель, Эстония, 10 мая 1910 г

Когда Альфред вышел за дверь, два старых друга встали из-за стола, чтобы размяться, пока секретарь директора Эпштейна ставил на стол блюдо с яблочным штруделем с грецкими орехами. Потом снова уселись и молча отщипывали по кусочку пирога в ожидании чая.

– Ну, что, Герман, это и есть – лик будущего? – задумчиво проговорил директор Эпштейн.

– Не то это будущее, какое я хочу видеть! Хорошо, что чай горячий, – когда я оказываюсь с ним рядом, у меня мороз по коже.

– Насколько нам следует беспокоиться из-за этого юнца, из-за его влияния на однокурсников?

Мелькнула тень: кто-то из студентов прошел по коридору, и герр Шефер встал, чтобы притворить дверь, которую Альфред оставил открытой.

– Я был его наставником с самого начала учебы, и он посещал ряд моих курсов. Но вот ведь странность какая: я его совсем не знаю. Как вы сами видите, есть в нем нечто... механическое и отстраненное. Других юношей я часто вижу занятыми оживленными беседами, но Альфред никогда в них не участвует. Хорошо скрывает свои чувства.

– Ну, едва ли он скрывал их последние несколько минут, Герман.

– А вот это для меня совершенная новость. Это меня поразило. Я увидел другого Альфреда Розенберга. Чтение Чемберлена придало ему храбрости.

– Может быть, в этом есть и светлая сторона? Вероятно, могут появиться и другие книги, которые воспламят его – но уже по-иному... Однако вы говорите, в целом он не охотник до книг?

– Как ни странно, на этот вопрос трудно ответить. Иногда мне кажется, что ему нравится сама идея книг или их атмосфера – или, может быть, только их переплеты. Он часто разгуливает по училищу со стопкой книг под мышкой – Гауптман²⁰, Гейне, Ницше, Гегель, Гете... временами его нарочитая поза почти смешна. Для него это способ продемонстрировать превосходство своего интеллекта, похвалиться тем, что он предпочитает книги популярности. Не раз я сомневался, что он их на самом деле читает. А сегодня прямо не знаю, что и думать.

– Такая страсть к Чемберлену... – заметил директор. – А в других вещах он проявлял подобный энтузиазм?

– Тоже вопрос! Он по большей части держит свои чувства в узде, но я помню, как он загорелся местной археологией. Несколько раз я брал небольшие группы студентов поучаствовать в археологических раскопках к северу от церкви Св. Олая. Розенберг всегда вызывался в такие экспедиции. Во время одной из них он помог найти кое-какие инструменты каменного века и доисторический очаг – и пришел в полный восторг.

– Странно, – проговорил директор, перелистывая личное дело Альфреда. – Почему он решил поступить в наше училище, вместо того чтобы пойти в гимназию? Там он мог бы изучать классиков, а потом поступил бы в университет на факультет литературы или философии – кажется, в этой области лежат его главные интересы. Зачем ему идти в Политехнический?

– Думаю, здесь финансовые причины. Его мать умерла, когда он был младенцем, а у отца туберкулез, и он работает банковским служащим, но весьма нерегулярно. Наш новый учитель

²⁰ Немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии за 1912 год.

рисования, герр Пурвит²¹, считает Розенберга довольно хорошим рисовальщиком и подбивает его избрать карьеру архитектора.

– Значит, с другими он держит дистанцию, – подытожил директор, захлопывая дело Альфреда, – и все же, несмотря на это, выиграл выборы. Кстати, а не он ли был старостой класса пару лет назад?

– Думаю, это мало связано с авторитетом у товарищей. Студенты без уважения относятся к этому посту, и популярные юноши обычно избегают его из-за сопряженных с ним рутинных обязанностей. Да и для того, чтобы произнести речь на вручении аттестатов, необходимо специально готовиться. Не думаю, что однокурсники воспринимают Розенберга всерьез. Я никогда не видел его в веселой компании, перебрасывающимся шутками с другими. Чаще он сам бывает мишенью для насмешек. Он – нелюдим, вечно в одиночку бродит по Ревелю со своим альбомом для зарисовок. Так что я бы не слишком беспокоился насчет того, что он станет распространять здесь свои экстремистские идеи.

Директор Эпштейн поднялся и подошел к окну. За стеклом виднелись широколиственные деревья, окутанные свежей весенней зеленью, а поодаль – белые домики с красными черепичными крышами, воплощенное чувство собственного достоинства.

– Расскажите мне побольше об этом Чемберлене. Мои интересы в чтении лежат в несколько иной области. Каков размах его влияния в Германии?

– Оно быстро нарастает. Пугающе быстро. Его книга была издана 10 лет назад, и ее популярность продолжает стремительно расширяться. Я слышал, что уже продано свыше 100 тысяч экземпляров.

– Вы ее читали?

– Многие из моих друзей прочли ее всю. А я начинал было, но она меня раздражала, и остаток я только бегло просмотрел. Профессиональные историки реагируют на нее аналогично – равно как и церковь, и, разумеется, еврейская пресса. Однако кое-какие видные люди ее хвалят – кайзер Вильгельм, например, или американец Теодор Рузвельт. И многие ведущие иностранные газеты отзываются о ней положительно, а некоторые просто бьются в экстазе. Язык Чемберлена высокопарен, он притворяется, что взывает к нашим благороднейшим чувствам. Но я думаю, что на деле он поощряет самые низменные.

– Как же вы объясните его популярность?

– Он убедительно пишет. И производит впечатление на недоучек. На любой его странице можно найти глубокомысленные цитаты из Тертуллиана или святого Августина, а то еще из Платона или какого-нибудь индийского мистика века этак восьмого. Но это лишь видимость эрудиции. На самом деле он просто надергал несвязанных между собою цитат из разных веков, чтобы поддержать свои убеждения. Его популярность, несомненно, помогла ему недавно жениться на дочери Вагнера. Многие рассматривают его как наследника вагнеровского расистского наследия.

– Что, коронован лично Вагнером?

– Нет, они никогда не встречались. Вагнер умер до того, как Чемберлен начал ухаживать за его дочерью. Но Козима²² дала им свое благословение.

Директор подлил в чашку чаю.

– Что ж, похоже, наш юный Розенберг так пропитался чемберленовским расизмом, что выветрить его, пожалуй, будет нелегко. И действительно, какой же никем не любимый, одинокий и, в общем, недалекий подросток не замурлыкал бы от удовольствия, узнав, что он принадлежит к знатному роду? Что предки его основали великие цивилизации? Особенно – мальчик,

²¹ Вильгельм Карлис Пурвит – латышский художник-пейзажист, основоположник современной латышской школы живописи.

²² Козима Лист-Вагнер – жена Рихарда Вагнера, дочь Ференца Листа, венгерского композитора и пианиста.

никогда не знавший матери, которая любовалась бы им; мальчик, чей отец на пороге смерти, а старший брат болен; который...

– Ах, Карл, я прямо так и слышу эхо *вашего* любимого провидца доктора Фрейда, который тоже убедительно пишет – и тоже ныряет в классиков, всегда выныривая на поверхность с сочной цитаткой!

– *Mea culpa*²³. Признаю, что его идеи кажутся мне все более и более разумными. К примеру, вы только что сказали, что продано сто тысяч экземпляров чемберленовской антисемитской книжонки. Целый легион читателей! И многие ли из них выбросили ее из головы, как это сделали вы? А сколько таких, кто зажегся ею, как Розенберг? Почему одна и та же книга вызывает такую палитру реакций? В читателе должно быть что-то, что побуждает его набрасываться на книгу и принимать ее целиком. Его жизнь, его психология, его образ себя. Должно существовать нечто, блуждающее глубоко в сознании (или, как говорит этот Фрейд, – в бессознательном), что заставляет такого читателя влюбляться в такого писателя.

– Благодатная тема для нашей следующей дискуссии за ужином! А тем временем мой студент Розенберг, как я подозреваю, мечется и потеет там, за дверью. Что будем с ним делать?

– Да, нам обоим хотелось бы от этого увильнуть. Но мы обещали ему задания и должны придумать их. Как считаете, может быть, мы слишком много на себя берем? Да и есть ли хоть какая-то возможность назначить ему такое задание, которое оказало бы на него положительное влияние за те немногие недели, что у нас остались? Кроме этого его фантазма «истинного немца», я вижу в нем столько горечи, столько ненависти ко всем и вся! Думаю, нам надо переключить его с бесплотных идей на нечто осязаемое, что-то такое, что он мог бы потрогать руками.

– Согласен. Труднее ненавидеть личность, чем расу, – подтвердил герр Шефер. – Есть у меня одна мысль. Я знаю одного еврея, к которому он должен быть неравнодушен. Давайте-ка позовем его обратно, и я начну с этого.

Секретарь директора Эпштейна убрал чайный прибор и привел Альфреда, который вновь занял свое место на другом конце стола.

Герр Шефер неторопливо набил свою трубку, раскурил ее, втянул и выдохнул облачко дыма – и начал:

– Розенберг, у нас есть еще несколько вопросов. Я осведомлен о ваших чувствах к евреям в широком расовом смысле, но вам ведь наверняка приходилось встречать на своем пути евреев хороших. Я, кстати, знаю, что у вас и у меня один и тот же семейный доктор, герр Апфельбаум. Я слышал, он вас принимал при рождении.

– Да, – подтвердил Альфред. – Он лечил меня всю мою жизнь.

– А еще он все эти годы был моим близким другом. Скажите мне, что, он тоже «мерзкий»? В Ревеле не найдется человека, который трудится усерднее его. Когда вы были младенцем, я собственными глазами видел, как он работал день и ночь, пытаясь спасти вашу матушку от туберкулеза. И мне рассказывали, что он рыдал на ее похоронах.

– Доктор Апфельбаум – неплохой человек. Он всегда хорошо о нас заботится... и мы всегда ему за это платим, между прочим. Да, попадаются и хорошие евреи. Я это знаю. Я ничего плохого не говорю о нем лично – лишь о еврейском семени. Нельзя отрицать, что все евреи несут в себе семя ненавистной расы и что...

– Ах, опять это слово «ненавистный»! – перебил директор Эпштейн, изо всех сил пытаясь сдержаться. – Я так много слышу о ненависти, Розенберг, но ничего не слышу о любви! Не забывайте, что любовь – вот сущность веры Христовой. Любить не только Бога, но и ближнего своего, как самого себя. Неужели вы не видите некоторого противоречия между тем, что вы читаете у Чемберлена, и тем, что каждую неделю слышите о христианской любви в церкви?

²³ Моя вина (лат.).

– Господин директор, я не посещаю церковь каждую неделю. Я... перестал туда ходить.

– А как к этому относится ваш батюшка? И как бы он отнесся к Чемберлену?

– Мой отец говорит, что в жизни не переступал порога церкви. И я читал, что и Чемберлен, и Вагнер утверждают, что учение церкви чаще ослабляет нас, нежели делает сильнее.

– Вы не любите Господа нашего Иисуса Христа?

Альфред умолк. Он ощущал, что его обложили со всех сторон. То была почва зыбкая, ненадежная: директор всегда говорил о себе как о преданном лютеранине. Безопасно опереться можно было только на Чемберлена, и Альфред силился получше припомнить слова из книги:

– Как и Чемберлен, я чрезвычайно восхищаюсь Иисусом. Чемберлен называет его нравственным гением. Он обладал великой силой и мужеством, но, к несчастью, его учения были еврейзированы Павлом, который превратил Иисуса в страдальца, человека робкого. В каждой христианской церкви есть картина или витраж с изображением распятия Иисуса. Ни в одной из них нет изображений могучего и мужественного Иисуса – Иисуса, который осмелился бросить вызов испорченным раввинам, Иисуса, который одной рукою вышвырнул из храма менял!

– Так, значит, Чемберлен видит Иисуса-льва, а не Иисуса-агнца?

– Да, – поддержал приободрившийся Розенберг. – Чемберлен говорит, что это трагедия – то, что Иисус появился в том месте и в то время. Если бы Иисус проповедовал германским народам или, скажем, индийцам, его слова оказали бы совершенно иное влияние.

– Давайте-ка вернемся к моему более раннему вопросу, – спохватился директор, который осознал, что избрал неверный курс. – У меня есть простой вопрос: кого вы любите? Кто ваш герой? Тот, кем вы восхищаетесь превыше всех прочих? Помимо этого Чемберлена, я имею в виду.

Мгновенного ответа у Альфреда не нашлось. Он долго медлил, прежде чем сказать:

– Гете.

И директор Эпштейн, и герр Шефер выпрямились в своих креслах.

– Интересный выбор, Розенберг, – заметил директор. – Ваш или Чемберлена?

– Нас обоих. И я думаю, что это выбор и герра Шефера тоже. Он хвалил Гете на наших занятиях больше, чем кого бы то ни было другого, – Альфред перевел выжидающий взгляд на учителя и получил утвердительный кивок.

– А скажите мне, почему именно Гете? – продолжал расспрашивать директор.

– Он – вечный германский гений. Величайший из немцев. Гений в литературе, в науке и в искусстве, и в философии. Он – гений более широкий, чем все прочие.

– Превосходный ответ, – похвалил директор Эпштейн, внезапно воодушевляясь. – И, полагаю, теперь я нашел для вас идеальную предвыпускную работу.

Два педагога шепотом посоветовались между собой. Директор Эпштейн вышел из кабинета и вскоре вернулся, неся большой фолиант. Они с Шефером вместе склонились над книгой и несколько минут листали ее, просматривая текст. Выписав несколько номеров страниц, директор повернулся к Альфреду.

– Вот ваша работа. Вы должны прочесть, очень внимательно, две главы – 14-ю и 16-ю – из автобиографии Гете и выписать каждую строчку о его собственном личном герое – о человеке, который жил давным-давно, по имени Бенито Спиноза. Уверен, вам понравится это задание. Ведь читать автобиографию своего кумира – большая радость. Вы любите Гете, и, я полагаю, вам интересно будет узнать, что он говорит о человеке, которым восхищается *он*. Верно?

Альфред с опаской кивнул. Озадаченный внезапным добродушием директора, он чуял ловушку.

– Итак, – продолжал директор, – давайте еще раз как следует уточним ваше задание, Розенберг. Вы должны прочесть 14-ю и 16-ю главы автобиографии Гете и выписать каждое предложение, где он пишет о Бенедикте де Спинозе. Вы должны сделать три копии: одну для себя и по одной для каждого из нас. Если мы обнаружим, что вы пропустили какой-либо из

его комментариев о Спинозе в своем письменном задании, то потребуем, чтобы вы переделали все задание заново – и так до тех пор, пока оно не будет выполнено верно. Увидимся через две недели, чтобы прочесть вашу работу и обсудить все аспекты вашего устного задания. Это ясно?

– Господин директор, могу я задать вопрос? Раньше вы говорили о двух заданиях. Я должен выполнить генеалогическое исследование. Я должен прочесть две главы. И я должен сделать три копии материалов об этом... Бенедикте Спинозе?

– О Спинозе, – подтвердил директор. – И в чем же вопрос?

– Господин директор, а разве это не три задания вместо двух?

– Розенберг, – подал голос герр Шефер, – и двадцать заданий были бы слишком мягким наказанием! Назвать вашего директора непригодным для его поста потому, что он еврей, – это достаточное основание для исключения из любой школы, будь то в Эстонии или в Германии!

– Да, герр Шефер.

– Погодите-ка, герр Шефер, возможно, мальчик прав, – возразил директор. – Задание по Гете настолько важно, что я хочу, чтобы он выполнил его с величайшей тщательностью, – он обернулся к Альфреду: – Вам дозволяется не делать генеалогического проекта. Полностью сосредоточьтесь на словах Гете. На этом наша встреча закончена. Увидимся ровно через две недели в это же время. И позаботьтесь сдать копии вашего задания на день раньше, чтобы мы могли их проверить.

Глава 5

Амстердам, 1656 г

– Доброе утро, Габриель, – окликнул Бенто брата, услышав, что он умывается, приготавливаясь к утренней субботней службе. Габриель лишь что-то промычал в ответ, но потом снова вошел в спальню и грузно опустился на величественную кровать с балдахином, которую делил с братом. Эта кровать, заполнявшая большую часть комнаты, была единственным напоминанием о прошлом.

Их отец, Михаэль, оставил все семейное состояние старшему сыну, Бенто, но две его сестры опротестовали завещание отца на том основании, что Бенто в результате избранного им пути перестал быть истинным членом еврейской общины. Хотя еврейский суд принял решение в пользу Бенто, тот поразил всех, сразу же передав всю семейную собственность сестрам и брату, сохранив для себя лишь одну вещь – кровать с балдахином, принадлежавшую родителям. После того как их сестры вышли замуж, он и Габриель остались одни в прекрасном трехэтажном белом доме, который семья Спиноза арендовала десятилетиями. Он стоял лицом к Хоутграхту²⁴ рядом с самыми оживленными перекрестками еврейского квартала Амстердама, недалеко от маленькой синагоги Бет Якоб и примыкающей к ней школы.

Как ни жаль было Бенто и Габриелю расставаться со старым домом, они все же решили переехать. Когда дом покинули сестры, он стал велик для двух человек и слишком живо напоминал им о покойных. Да и обходился чересчур дорого: англо-голландская война 1652 года и пиратские захваты кораблей из Бразилии стали сущей катастрофой для импортной торговли семьи Спиноза, вынудив братьев снять дом поменьше всего в пяти минутах ходьбы от их лавки.

Бенто долгим взглядом вглядывался в брата. Когда Габриель был ребенком, люди часто звали его «маленьким Бенто»: у них был один и тот же удлинённый овал лица, те же пронзительные «совиные» глаза, тот же решительный нос. Однако теперь полностью возмужавший Габриель стал на сорок фунтов тяжелее старшего брата, на пять дюймов²⁵ выше и намного сильнее. Но в глазах его больше не появлялся тот пристальный взгляд, словно вглядывающийся в дальнюю даль.

Братья в молчании сидели рядом. Обыкновенно Бенто дорожил тишиной и чувствовал себя вполне непринужденно, деля с Габриелем трапезы или работая бок о бок с ним в лавке и не обмениваясь при этом ни словом. Но сегодняшнее молчание было тягостным и рождало темные мысли. Бенто вспомнилась сестра, Ребекка, которая в прошлом всегда была такой говорливой и энергичной. Теперь же она молчала и отворачивалась при всякой встрече с ним.

Они молчали – как молчали и все покойные, все те, кто заснул вечным сном, убаюканные этой самой кроватью: их мать Ханна, которая умерла 20 лет назад, когда Бенто еще не исполнилось шести лет; старший брат Исаак – шесть лет назад; мачеха Эстер – три года назад; отец и сестра Мириам – всего два года назад. Из всех братьев и сестер – этой шумной, жизнерадостной компании, которая играла, ссорилась и мирилась, скорбя по своей матери, и медленно приучалась любить мачеху Эстер – остались только Ребекка и Габриель, да и те стремительно отдалялись от Бенто.

Поглядывая на припухшее бледное лицо Габриеля, Бенто нарушил молчание:

– Ты снова плохо спал, Габриель? Я чувствовал, как ты ворочался.

– Да, снова, Бенто. А как еще могу я спать? Все теперь из рук вон скверно. Что делать? Что делать?! Меж нами как черная кошка пробежала – а я терпеть этого не могу. Вот нынче

²⁴ Один из каналов Амстердама.

²⁵ 18 кг и 12,5 см, соответственно.

утром одеваюсь я для шаббата. Солнце выглянуло в первый раз за неделю, небо над головою такое синее, и мне бы ликовать, как все остальные, как наши соседи. А вместо этого, из-за моего собственного брата... Прости меня, Бенто, но я взорвусь, если не заговорю! Из-за *тебя* моя жизнь – сплошное несчастье. И в том, что я иду в мою синагогу, чтобы присоединиться к моему народу и молиться моему Богу, нет мне никакой радости.

– Мне печально это слышать, Габриель. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив.

– Слова – это одно. А дела – другое.

– Какие дела?

– Какие дела! – воскликнул Габриель. – Подумать только, а ведь я всю жизнь верил, что ты знаешь все на свете! Кому другому, задай он мне такой вопрос, я бы ответил: «Шутить изволишь!» – но я знаю, что ты-то никогда не шутишь... Однако ты ведь *знаешь*, какие дела я имею в виду? Так?

Бенто только вздохнул.

– Что ж, давай начнем с такого дела, как отвержение еврейских обычаев и даже самой общины. А потом – непочитание шаббата. И то, что ты отвернулся от синагоги и почти ничего не пожертвовал в этом году, – вот о каких делах я говорю.

Габриель посмотрел на Бенто, который продолжал молчать.

– Я назову тебе еще и другие дела, Бенто. Только вчера вечером ты совершил такое дело, сказав «нет» в ответ на приглашение к субботнему ужину в доме Сары. Ты знаешь, что я собираюсь жениться на Саре, однако не желаешь соединить две семьи, празднуя с нами шаббат. Можешь ты представить, каково это для меня? Для твоей сестры, Ребекки? Какое оправдание мы можем придумать? Что сказать – наш брат предпочитает уроки латыни со своим иезуитом?!

– Габриель, то, что я не иду, только на пользу вашему пищеварению. Ты и сам это понимаешь. Ты знаешь, что отец Сары – человек суеверный...

– Суеверный?!

– Я имею в виду – крайний ортодокс. Ты же видел, что одно мое присутствие заставляет его затевать богословские споры. Ты знаешь, что бы я ни сказал, от этого лишь больше раздора и больше боли тебе и Ребекке. Нет меня – и все идет тихо и мирно, здесь у меня нет никаких сомнений. Мое отсутствие равно покою для тебя и для Ребекки. И я все чаще размышляю об этом.

Габриель покачал головой.

– Бенто, помнишь, иногда в детстве я пугался, потому что воображал, что мир исчезает, когда я закрываю глаза? Ты направил мои мысли на путь истинный. Ты убедил меня в существовании реальности и вечных законов Природы. Однако теперь сам совершаешь ту же ошибку. Ты воображаешь, что раздор, вызванный Бенто Спинозой, исчезает, когда его самого нет рядом и он ничего не видит?

Бенто не ответил.

– Знаешь, как неприятно было мне вчера вечером? – продолжал Габриель. – Отец Сары начал трапезу с разговора о тебе. Он опять бушевал из-за того, что ты обошел стороной наш еврейский суд и передал свое дело для рассмотрения голландскому гражданскому суду. Никто еще на его памяти, сказал он, никогда так не оскорблял раввинский суд. Это уже почти основание для исключения из общины. Ты этого хочешь? *Херема*²⁶? Бенто, наш отец умер, наш старший брат умер. Ты – глава семьи. И оскорбляешь нас всех обращением в голландский суд! Да еще в какой момент! Неужели ты не мог подождать по крайней мере, пока мы сыграем свадьбу?

– Габриель, я объяснял тебе это снова и снова, но ты меня не слышал. Послушай еще раз – и попытайся все же уразуметь. И, сверх всего, пожалуйста, постарайся понять, что я принимаю свою ответственность за тебя и Ребекку всерьез. Подумай, какая передо мною стоит проблема.

²⁶ Высшая мера осуждения в еврейской общине – полное отлучение.

Наш отец, да будет он благословен, был щедрым человеком. Но совершил ошибку, когда выдал гарантийное письмо этому жадному ростовщику, Дуарте Родригесу, на долг скорбящей вдовы Энрикес. Ее муж, Педро, был просто знакомым нашего отца, не родственником и, насколько я знаю, даже не близким другом. Никто из нас в жизни не видел ни его, ни ее, и это полная тайна – почему наш отец взялся гарантировать тот долг. Ты знаешь отца – если он видел человека в нужде, он протягивал ему не просто руку помощи, а обе, не задумываясь о последствиях. Когда вдова и ее единственный ребенок умерли в прошлом году от чумы, оставив долг невыплаченным, Дуарте Родригес – этот благочестивый еврей, который сидит на биме²⁷ в синагоге и уже владеет половиной домов на Йоденбреестраат, – попытался переложить свою потерю на нас. Он оказывает давление на раввинский суд, чтобы тот потребовал от бедной семьи Спиноза уплатить долг людей, которых никто из нас в глаза не видел! – Бенто помолчал. – Ты знаешь это, Габриель? Да или нет?

– Да, но...

– Позволь мне закончить, Габриель. Важно, чтобы ты это знал. Ведь ты можешь однажды стать главой семьи. Итак, Родригес предоставил дело еврейскому суду – суду, многие члены которого ищут его милостей, поскольку он – главный жертвователь синагоги. Скажи-ка мне, Габриель, как думаешь, стали бы они его разочаровывать? Почти сразу же суд постановил, что поскольку я, старший мужчина в роду, достиг 24 лет, семейство Спиноза должно принять этот долг на себя. А размеры его столь велики, что исчерпают все ресурсы нашей семьи до конца наших дней. Они также постановили, что наследство, которое оставила нам наша мать, должно пойти в уплату долга Родригесу. Ты успеваешь за мною, Габриель?

Дождавшись хмурого кивка от Габриеля, Спиноза продолжал:

– Поэтому три месяца назад я обратился к голландской юстиции, потому что она разумнее. С одной стороны, имя Родригес не имеет над ней никакой власти. И голландский закон постановляет, что глава семьи должен достичь 25, а не 24 лет, чтобы принять ответственность за такой долг. Поскольку мне еще нет двадцати пяти, нашу семью пока можно спасти. Мы не обязаны принимать долги, повисшие на состоянии нашего отца, и можем получить те деньги, которые предназначила для нас мать. И под «нами» я имею в виду тебя и Ребекку – я намерен передать мою долю вам. У меня нет семьи, и деньги мне не нужны. И последнее, – продолжал он – ты говорил о неудачно выбранном моменте. Поскольку мой двадцать пятый день рождения выпадает на время *перед* твоей свадьбой, я должен действовать *сейчас*. А теперь скажи мне, разве ты не видишь, что я *действительно* поступаю ответственно по отношению к семье? Разве ты не ценишь свободу? Если я не буду действовать, мы окажемся в рабстве на всю жизнь. Ты этого хочешь?

– Все во власти Божией – и пусть так и будет. Ты не имеешь права бросать вызов закону нашей религиозной общины. А что до рабства, то я предпочитаю его остракизму. Кроме того, отец Сары говорил не только об этом судебном иске. Хочешь услышать, что еще он сказал?

– Думаю, это *ты* хочешь рассказать мне.

– Он сказал, что «проблему Спинозы», как он ее называет, можно проследить на много лет назад, к той дерзости, которую ты изрек во время подготовки к бар-мицве²⁸. Он вспоминал, что рабби Мортейра благоволил тебе превыше всех прочих своих учеников. Что он думал о тебе как о своем возможном преемнике. А потом ты назвал библейскую историю об Адаме и Еве «басней». Он сказал, что, когда рабби попрекнул тебя тем, что ты отрицаешь слово Божие, ты ответил: «Тора ошибается, ибо если Адам был первым человеком, то на ком же женился его сын Каин?» Ты и впрямь сказал это, Бенто? Это правда, что ты сказал, что Тора «ошибается»?

²⁷ Возвышение, помост, на котором стоит стол или пюпитр для чтения текстов из Торы во время службы; то же, что вима в христианской базилике.

²⁸ Букв. «сын заповедей»; до XV века так называли совершеннолетнего полноправного мужчину; позже термин стал в основном обозначать обряд посвящения мальчика в мужчины, который проводится в тринадцать лет и один день.

– Верно, что Тора называет Адама первым человеком. И верно, что она говорит, что его сын Каин женился. И уж, наверное, мы имеем право задать очевидный вопрос: если Адам был первым человеком, тогда откуда могла взяться женщина, на которой мог жениться Каин? Этот вопрос – его называют «доадамовым» – обсуждается в изучении Библии более тысячи лет. Так что, если ты спросишь меня, басня ли это, я отвечу «да»: эта история – всего лишь метафора.

– Ты говоришь так, потому что не понимаешь ее! Разве твоя мудрость превосходит мудрость Божию? Неужто ты не знаешь, что есть причины, по которым мы не можем *ведать* и должны полагаться на наших рабби в толковании и разъяснении Писания?

– Такая позиция замечательно удобна для раввинов, Габриель. Профессиональные служители религии во все времена стремились к тому, чтобы быть единственными толкователями таинств. Очень выгодное положение.

– Отец Сары сказал, что эта дерзость – подвергать сомнению Библию и нашу религию – оскорбительна и опасна не только для евреев, но и для христианской общины. Библия священна и для них!

– Габриель, ты считаешь, что мы должны отвергнуть логику, отвергнуть наше право на сомнения?

– Я не оспариваю *твое* личное право на логику и *твое* право на сомнения в раввинском законе. Я не подвергаю сомнению *твое* право сомневаться в святости Библии. На самом деле я не оспариваю даже твое право гневаться на Бога. Это – твое дело. Возможно, это твоя болезнь. Но ты вредишь мне и сестре отказом держать свои взгляды при себе!

– Габриель, этому разговору об Адаме и Еве с рабби Мортейрой уже больше десяти лет! После него я не высказывал свое мнение. Но два года назад я принес клятву вести праведную жизнь, что включала и обещание больше никогда не лгать. Таким образом, если меня спрашивают о моем мнении, я излагаю его правдиво – именно *поэтому* я отказался ужинать с отцом Сары. Но прежде всего, Габриель, вспомни о том, что мы – отдельные души, разные люди. Другие не путают тебя со мной. Они не считают тебя ответственным за блуждания твоего старшего брата.

Габриель встал и вышел из комнаты, качая головой и бормоча:

– И это – мой старший брат! Лепечет, как неразумное дитя.

Глава 6

Ревель, Эстония, 1910 г

Через три дня бледный и взволнованный Альфред попросил о личной встрече с герром Шефером.

– У меня проблема, герр Шефер, – начал Альфред, открывая свой портфель и вынимая из него семисотстраничную автобиографию Гете, между страницами которой торчали несколько криво оторванных клочков бумаги. Он раскрыл книгу на первой закладке и ткнул пальцем в текст. – Герр Шефер, Гете упоминает Спинозу вот здесь, в этой строчке. А потом еще здесь, парой строчек ниже. Но потом идут несколько параграфов, где это имя не появляется, и я не могу уяснить, о нем это или нет. На самом деле, я большую часть этого просто не понимаю. Это очень трудно! – Он перевернул страницы и указал на другой раздел: – Вот, и здесь то же самое! Он упоминает Спинозу два или три раза, потом четыре страницы идут без всякого упоминания. Насколько я могу судить, здесь неясно, говорит он о Спинозе или о ком-то другом. Он еще пишет о каком-то человеке по имени Якоби... И так повторяется еще в четырех других местах. Я понимал «Фауста», когда мы читали его в вашем классе, и понимал «Страдания молодого Вертера», но здесь, в этой книге, я читаю страницу за страницей – и ничего не понимаю!

– Чемберлена-то читать гораздо легче, не так ли? – сказал герр Шефер, но мгновенно пожалел о своем сарказме и поспешил добавить более мягким тоном: – Вы можете не уловить смысла всех слов Гете, Розенберг, это вполне понятно. Но вы должны сознавать, что это – не строго организованная работа, а вереница воспоминаний о его жизни. Вы когда-нибудь сами вели дневник? Или, может быть, пробовали писать о своей жизни?

Альфред кивнул:

– Да, пару лет назад, но я вел его всего несколько месяцев.

– Что ж, расценивайте эту книгу как что-то вроде дневника. Гете писал его не столько для своего читателя, сколько для самого себя. Поверьте мне, когда вы станете старше и больше узнаете об идеях Гете, вы лучше поймете и оцените его слова. Позвольте-ка... – Взяв у Альфреда книгу и просмотрев заложенные страницы, герр Шефер воскликнул: – А, я вижу, в чем проблема! Вы подняли обоснованный вопрос, и мне необходимо пересмотреть ваше задание. Давайте пройдемся по этим двум главам...

Сдвинув вместе головы, герр Шефер и Альфред надолго углубились в текст, и герр Шефер попутно помечал в блокноте номера страниц и строк.

Отдавая Альфреду блокнот, он сказал:

– Вот что вы должны переписать. Помните, три разборчиво написанные копии! Но тут есть одна загвоздка. Это получается всего двадцать или двадцать пять строк – задание намного более короткое, чем первоначально назначил вам директор, и я сомневаюсь, что такой объем его удовлетворит. Поэтому вы должны кое-что сделать дополнительно: выучите эту сокращенную версию наизусть и расскажите ее на нашей встрече с директором Эпштейном. Думаю, он сочтет это приемлемой заменой.

Заметив тень сердитой гримасы на лице Альфреда, герр Шефер добавил:

– Альфред, хотя мне не нравится эта перемена в вас – вся эта чушь о расовом превосходстве, – я по-прежнему на вашей стороне. В течение прошлых четырех лет вы были хорошим и послушным студентом – правда, как я вам не раз говорил, могли бы проявлять и большее усердие. Уничтожить собственные шансы на будущее, не получив аттестата, – для вас это было бы настоящей трагедией. – Он выждал, чтобы последняя фраза как следует запомнилась. – Мой вам совет: вложите всю душу в это задание. Директор Эпштейн захочет большего, нежели

простое переписывание и пересказ. Он будет ждать от вас понимания того, что вы прочли. Так что старайтесь, старайтесь, Альфред. Лично я хочу увидеть вас успешным выпускником.

– А можно, я все же покажу вам свой экземпляр, прежде чем писать две другие копии?

Бездушный ответ Альфреда неприятно царапнул его самолюбие, но герр Шефер сдержался, ответив:

– Если вы будете следовать моим инструкциям, изложенным в блокноте, в этом не будет необходимости.

Когда Альфред развернулся, собираясь уйти, герр Шефер окликнул его:

– Розенберг, минуту назад я протянул вам руку помощи. Я сказал, что вы были хорошим студентом и что я хочу видеть вас с аттестатом в руках. Неужели вы ничего не хотите сказать в ответ? В конце концов, я был вашим учителем четыре года!

– Да, герр Шефер.

– *Да, герр Шефер?*

– Я не знаю, что сказать.

– Хорошо, Альфред, можете идти.

Герр Шефер уложил в свой портфель студенческие работы, взятые на проверку, решил выбросить Альфреда из головы и стал думать о своих двух детях, о жене и о шпацле²⁹ и вериворсте³⁰, которые она обещала к сегодняшнему ужину.

А Альфред отбыл в полной растерянности. Как быть с заданием? Не сделал ли он все только хуже? Или, наоборот, ему дали передышку? В конце концов, наизусть-то он учит легко. Ему нравилось заучивать наизусть реплики для театральных спектаклей и речи...

* * *

Через две недели Альфред стоял у длинного стола герра Эпштейна, вопросительно глядя на директора, который сегодня выглядел еще более внушительным и свирепым, чем обычно. Герр Шефер, по сравнению с директором, казавшимся тщедушным, с унылым лицом, жестом велел Альфреду начать пересказ. Бросив последний взгляд на свой экземпляр текста Гете, Альфред выпрямился, объявил:

– Из автобиографии Гете, – и начал:

– Мыслителем, который трудился надо мной столь решительно и оказал столь великое влияние на весь мой образ мысли, был Спиноза. Тщетно озирая весь мир в поисках средства, которое могло бы усовершенствовать странную мою природу, я наконец набрел на «Этику» этого философа. И в ней обрел успокоительное для своих страстей; в ней, казалось, открылся мне широкий и свободный взгляд на вещественный и смертный мир...

– Итак, Розенберг, – прервал его директор, – что же такое Гете получил от Спинозы?

– Э-э... его этику?

– Нет-нет. Боже милосердный, неужели вы не поняли, что «Этика» – это название книги Спинозы! Что, по словам Гете, он обрел в книге Спинозы? Что, как вы думаете, он подразумевает под «успокоительным своим страстям»?

– Нечто такое, что его умиротворило?

– Да, отчасти. Но продолжайте: эта мысль вскоре снова появится.

Альберт некоторое время проговаривал текст про себя, чтобы найти нужное место, потом снова стал декламировать:

²⁹ Шпацле – домашняя лапша, обжаренная с сыром.

³⁰ Вериворст – кровяная колбаса с перловой крупой.

– Но что особенно привлекло меня в Спинозе – это его свободный от связей интерес...

– «Незаинтересованность» – а не интерес! – рыкнул директор Эпштейн, пристально следивший за каждым словом пересказа по своим заметкам. – «Незаинтересованность» означает эмоциональную непривязанность!

Альфред дернул подбородком и продолжал:

– Но что особенно привлекло меня в Спинозе – это его свободная от привязанностей незаинтересованность, сиявшая в каждой фразе. Это великолепное высказывание – «кто любит Бога, тот не может стремиться, чтобы и Бог, в свою очередь, любил его» – со всеми послылками, на коих оно покоится, и всеми вытекающими из него логическими следствиями, наполнило весь мой ум...

– Это трудный фрагмент, – снова перебил директор. – Позвольте, я объясню. Гете говорит, что Спиноза научил его освобождать свой разум от влияния других. Искать собственные чувства, делать собственные умозаключения, а потом действовать в соответствии с ними. Иными словами, позволяй своей любви свободно течь, но не позволяй влиять на нее мысли о той любви, которую можешь получить взамен. Мы могли бы применить ту же самую идею к предвыборным речам. Гете не стал бы строить свою речь, основываясь на том восхищении, которое получит от других. Вы понимаете? До вас дошло?

Альфред кивнул. Что до него на самом деле дошло – это что директор Эпштейн затаил на него злобу. Он дождался жеста директора и продолжил:

– Далее, не должно отрицать, что теснейшие союзы складываются из противоположностей. Всеприемлющее спокойствие Спинозы составляло резкий контраст с моей всевозмущающей деятельной энергией. Его математический метод противостоял моим поэтическим чувствам. Дисциплинированный склад его ума сделал меня его пылким учеником, его самым решительным почитателем. Разум и сердце, понимание и чувство искали друг друга с неизбежным тяготением, и следствием явился союз самых различных натур...

– Знаете ли вы, что он подразумевает под «двумя различными натурами», Розенберг? – осведомился директор.

– Я думаю, он имеет в виду ум и сердце.

– Именно! А который из них – Гете и который – Спиноза?

Альфред недоуменно посмотрел на него.

– Это не просто упражнение для памяти, Розенберг! Я хочу, чтобы вы понимали выученные слова. Гете – поэт. Так кто он – ум или сердце?

– Он – сердце. Но он также обладал великим умом.

– Ах, да! Теперь я понимаю ваше замешательство. Но здесь он говорит, что Спиноза предлагает ему тот баланс, который позволяет Гете примирить свою страстность и кипучее воображение с необходимым спокойствием и рассудком. И именно *поэтому* Гете говорит, что он – «самый решительный почитатель Спинозы». Понимаете?

– Да, господин директор.

– Теперь продолжайте.

Альфред замешкался, в его глазах мелькнула паника.

– Я потерял мысль. Я не помню, на чем мы остановились...

– Вы прекрасно справляетесь, – вставил герр Шефер, пытаясь успокоить его. – Мы понимаем, как трудно читать наизусть, когда вас так часто прерывают. Можете свериться со своими записями, чтобы найти это место.

Альфред глубоко вздохнул, пробежал взглядом заметки и продолжал:

– Некоторые выставляли его атеистом и считали достойным порицания; но, с другой стороны, они также признавали, что он был спокойным, задумчивым человеком, добрым гражданином, с сострадательной душой. Похоже, критики Спинозы забыли слова Писания: «По плодам их узнаете их» – ибо угодная людям и Богу жизнь не может произрастать из порочных принципов. Я по сей день помню, какой покой и ясность низошли на меня, когда я впервые переворачивал страницы «Этики», написанной этим выдающимся человеком. Поэтому я вновь поспешил прибегнуть к сему труду, коему я стольким обязан – и вновь меня охватил тот же дух умиротворения. Я предался чтению и размышлению и ощутил, заглянув в себя, что никогда еще не мог узреть мир так ясно.

Договорив последнюю строчку, Альфред шумно выдохнул. Директор сделал ему знак сесть и заметил:

– Ваш пересказ был удовлетворителен. У вас хорошая память. А теперь давайте проверим ваше понимание этого последнего отрывка. Скажите мне, считает ли Гете Спинозу атеистом?

Альфред отрицательно покачал головой.

– Я не расслышал ваш ответ.

– Нет, господин директор, – громко произнес Альфред. – Гете не думал, что он атеист. Но другие так считали.

– И почему же Гете с ними не согласен?

– Наверное, из-за его этики?

– Нет-нет. Вы что, уже позабыли, что «Этика» – это название книги Спинозы? Итак, почему Гете не согласен с критиками Спинозы?

Альфред затрепетал, но не издал ни звука.

– Боже мой, Розенберг, да загляните же в свои записи! – велел директор.

Альфред просмотрел последний параграф и наконец отважился:

– Потому что он был добр и жил жизнью угодной Богу?

– Точно так. Иными словами, имеет значение не то, во что вы верите или говорите, что верите – а то, как вы живете. А теперь, Розенберг, последний вопрос по этому фрагменту. Скажите нам еще раз, что Гете получил от Спинозы?

– Он говорил, что обрел дух умиротворения и покоя. Он также говорил, что узрел мир с большей ясностью. Это – две главные вещи, которые он обрел.

– Точно! Известно, что великий Гете целый год носил в кармане экземпляр «Этики» Спинозы. Представьте – целый год! И не только Гете, но и другие великие немцы. Лессинг и Гейне говорили о ясности и умиротворении, которые нисходили на них благодаря чтению этой книги. Кто знает, возможно, и в вашей жизни настанет время, когда вам тоже понадобятся умиротворение и ясность, которые дает «Этика» Спинозы. Я не стану просить вас прочесть эту книгу теперь же. Вы слишком юны, чтобы осмыслить ее значение. Но я хочу, чтобы вы пообещали, что до своего двадцать первого дня рождения вы ее прочтете... Или, возможно, мне следовало бы сказать – прочтете ее к тому времени, когда полностью возмужаете. Даете ли вы мне свое слово – слово доброго немца?

– Да, господин директор, даю слово!

Чтобы отделаться от этого допроса, Альфред был бы рад пообещать, что прочтет целиком всю энциклопедию по-китайски.

– А теперь давайте перейдем к сути этого задания. Вам вполне ясно, почему мы дали вам такое задание по чтению?

– Э-э... нет, господин директор. Я думал, это просто потому, что я сказал, что Гете восхищает меня превыше всех остальных.

– Безусловно, это отчасти так. Но вы же наверняка поняли, что в действительности означает мой вопрос?

Альфред уставился на него пустым взглядом.

– Я спрашиваю вас: что для вас означает то, что человек, которым **вы** восхищаетесь превыше всех прочих, выбрал в качестве человека, которым **он** восхищается превыше всех прочих, *еврея*?

– Еврея?..

– Неужели вы не знали, что Спиноза – еврей?

Тишина.

– Вы что же, ничего не выяснили о нем за истекшие две недели?

– Господин директор, я ничего не узнавал о Спинозе. Это не входило в мое задание.

– И поэтому вы, благодарение Богу, увильнули от излишней необходимости немного расширить свои знания? Верно, Розенберг?

– Давайте-ка выразим это по-другому, – поспешил на помощь герр Шефер. – Подумайте о Гете. Как бы он поступил в такой ситуации? Если бы от Гете потребовали прочесть автобиографию какого-то неизвестного ему человека, что сделал бы Гете?

– Он постарался бы побольше узнать о нем.

– Вот именно! Это важно, если вы кем-то восхищаетесь – стремитесь его превзойти. Используйте его как своего наставника.

– Благодарю вас, герр Шефер.

– И все же, давайте продолжим рассмотрение моего вопроса, – гнул свое директор Эпштейн. – Как вы объясните беспредельное восхищение и благодарность Гете по отношению к какому-то еврею?

– А Гете знал, что он еврей?

– Господи боже мой! Разумеется, знал!

– Но, Розенберг, – заговорил герр Шефер, в голосе которого тоже начало прорываться раздражение, – вдумайтесь в то, о чем спрашиваете. Какое это имеет значение – знал ли он, что Спиноза – еврей? С чего вы вдруг вообще задали этот вопрос? Неужели вы думаете, что человек склада Гете – вы ведь сами назвали его универсальным гением – стал бы разбираться, принимать ему великие мысли или нет, в зависимости от их источника?!

У Альфреда был такой вид, будто его громом поразило. Никогда еще в его мозгу не бушевал подобный вихрь мыслей. Директор Эпштейн, положив ладонь на руку герра Шефера, чтобы успокоить его, не сдавался:

– Мой главный вопрос к вам по-прежнему остается без ответа. Как вы объясните то, что универсальный немецкий гений почерпнул столь значительную помощь в идеях представителя низшей расы?

– Вероятно, дело в том же, о чем я говорил, имея в виду доктора Апфельбаума. Может быть, в результате мутации может появиться и хороший еврей, несмотря на то, что вся их раса порочна и недоразвита...

– Это неприемлемый ответ! – заявил директор. – Одно дело – говорить так о враче, добром человеке, что усердно трудится в избранной им профессии, и совсем другое – называть плодом мутации гения, который, вполне возможно, изменил ход истории. А ведь есть много других евреев, чья гениальность – прекрасно известный факт. Подумайте о них. Позвольте напомнить вам о тех, которых вы знаете сами – но, может быть, не догадываетесь, что они – евреи. Герр Шефер говорил мне, что в классе вы читали наизусть стихи Генриха Гейне. Он также упоминал, что вы любитель музыки, и, как я догадываюсь, вам случалось слушать произведения Густава Малера и Феликса Мендельсона. Так?

– А что, они все – евреи, господин директор?!

– Да, и вы не можете не знать, что Дизраэли, великий премьер-министр Англии, был евреем, не так ли?

– Я не знал этого, господин директор...

– Ну, конечно! А в настоящее время в Риге идет опера «Сказки Гофмана», сочиненная Жаком Оффенбахом, еще одним отпрыском еврейского народа. Как много гениев! И как вы это объясните?

– Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне надо будет об этом подумать... Пожалуйста, господин директор, можно мне уйти? Я плохо себя чувствую. Обещаю, я подумаю об этом!

– Да, можете идти, – разрешил директор. – И я очень хочу, чтобы вы задумались. Думать вообще полезно. Подумайте о нашем сегодняшнем разговоре. Подумайте о Гете и об этом еврее Спинозе.

* * *

После ухода Альфреда директор Эпштейн и герр Шефер несколько минут молча смотрели друг на друга, а потом директор заговорил:

– Он говорит, что собирается подумать, Герман. Каковы шансы на то, что он действительно задумается?

– Близки к нулю, я бы сказал, – вздохнул герр Шефер. – Давайте дадим ему аттестат и сбудем с рук долой. Он страдает отсутствием любознательности, которое, скорее всего, не поддастся излечению. Копни его разум в любом месте – и наткнешься на ту же скальную породу ни на чем не основанных убеждений.

– Вы правы. Я ничуть не сомневаюсь, что и Гете, и Спиноза в эту самую минуту улечиваются из его головы и больше никогда ее не потревожат... Тем не менее то, что сейчас произошло, сняло у меня камень с души. Мои страхи просто смешны! Этот юноша не обладает ни достаточным интеллектом, ни силой духа, чтобы нанести серьезный вред, увлекая других своим образом мыслей.

Глава 7

Амстердам, 1656 г

Бенто выглянул в окно, наблюдая, как брат идет к синагоге. *Габриель прав: я действительно наношу вред своим самым близким людям. Выбор мне предстоит устрашающий: я должен либо отступить от себя, отказавшись от своей самой сокровенной природы и стреножив свое любопытство, либо вредить тем, кто мне роднее всех...* Рассказ Габриеля о гневе в его адрес, прорвавшемся на субботнем ужине, пробудил в памяти Бенто отеческое предостережение ван ден Эндена о растущей опасности, которая грозит ему в еврейской общине. Он размышлял о возможностях избежать этой ловушки почти час, потом встал, оделся, сварил себе кофе и вышел через черный ход с чашкой в руке, направляясь к лавке, носившей гордое название «Импорт и экспорт Спинозы».

В лавке он смахнул пыль, вымел мусор через переднюю дверь на улицу и опорожнил большой мешок ароматного сушеного инжира – новой поставки из Испании – в ларь. Усевшись на свое обычное место у окна, Бенто прихлебывал кофе, закусывая инжиром, и целиком ушел в образы, проплывавшие в его голове. Он не так давно начал практиковать этот новый тип созерцания: он целиком отключался от потока мышления и воспринимал свой внутренний мир как театр, а себя – зрителем, наблюдающим происходящее действие. На внутренней сцене сразу же возникло лицо Габриеля со всеми его печалью и растерянностью, но Бенто уже научился опускать занавес и легко переходить к следующему действию. Вскоре перед ним материализовался ван ден Энден. Он хвалил успехи Бенто в латыни, по-отечески легонько пожимая его плечо. Это прикосновение... ему нравилось его ощущать. *Но, подумал Бенто, когда Ребекка, а теперь и Габриель от меня отворачиваются – кто станет ко мне прикасаться?*

Затем поток сознания Бенто скользнул дальше, он увидел самого себя, обучающего ивриту своего учителя и Клару Марию. Он улыбнулся, заставляя двух своих учеников, как детишек, зубрить *алеф, бет, гиммель*, – и улыбнулся еще шире видению Клары Марии, в свою очередь, гоняющей Спинозу по греческим *альфа, бета, гамма*. Он заметил яркое, почти лучистое свечение образа Клары Марии – этой юной калек с искривленной спиной, этой женщины-ребенка, чья шаловливая улыбка сводила на нет все ее старания казаться взрослой строгой менторшей. Проплыла шальная мысль: *если бы только она была постарше...*

К полудню его долгая медитация была прервана каким-то движением за окном. В отдалении он увидел идущих к лавке Якоба и Франку, которые переговаривались на ходу. Бенто дал себе клятву вести благочестивую жизнь и знал, что негоже исподтишка наблюдать за другими людьми – которые, вполне вероятно, обсуждают его в этот момент. Однако не мог отвести взгляда от странной сцены, разворачивавшейся перед его глазами.

Франку отстал от Якоба на три-четыре шага. Тогда Якоб обернулся, схватил его за руку и попытался тащить силой. Франку выдернул руку и яростно затряс головой. Якоб что-то ему ответил, а потом, оглядевшись, чтобы убедиться, что поблизости нет никаких свидетелей, своими огромными ладонями ухватил Франку за плечи, резко потрянул его, направил вперед и толкал перед собой, пока они не добрались до лавки.

На мгновение Бенто наклонился к окну, захваченный происходящим, но вскоре вновь вошел в созерцательное состояние и принялся размышлять о загадочном поведении Франку и Якоба. Через пару минут его оторвали от размышлений звук открывшейся двери лавки и шаги вошедших.

Он вскочил, поприветствовал своих гостей и подтащил поближе два кресла для них, а сам сел на большой мешок с кофейными зернами.

– Вы идете с субботней службы?

– Да, – ответил Якоб, – и одному из нас она принесла умиротворение, а другой еще более взволнован, чем прежде.

– Интересно... Одно и то же событие вызывает два столь различных отклика. И каково же объяснение сему феномену? – поинтересовался Бенто.

Якоб не замедлил с ответом:

– Не так уж это интересно, а объяснение и вовсе прозрачно. В отличие от Франку, у которого нет иудейского образования, я сведущ в еврейской традиции и иврите, и...

– Позволь мне прервать тебя, – проговорил Бенто, – но уже с самого начала твое объяснение само нуждается в объяснении. Любой ребенок, воспитанный в Португалии в марранской³¹ семье, не искушен в иврите и еврейских ритуалах. В том числе и мой отец, который выучил иврит только после того, как покинул Португалию. Он рассказывал мне, что, когда он мальчиком жил в Португалии, великие кары грозили любой семье, обучающей своих детей еврейскому языку или еврейским традициям. Кстати, – Спиноза повернулся к Франку, – разве не слышал я вчера о возлюбленном отце, казненном из-за того, что инквизиция нашла у него зарытую в землю Тору?

Франку, нервно запустив пальцы в длинные волосы, ничего не ответил, но едва заметно кивнул.

Снова обращаясь к Якобу, Бенто продолжил:

– Итак, Якоб, позволь спросить тебя: откуда ты знаешь иврит?

– Мои предки сделались новообращенными христианами три поколения назад, – быстро заговорил Якоб, – но остались тайными евреями, полными решимости сохранить нашу веру живой. Мой отец послал меня в Роттердам работать в его торговом деле, когда я был одиннадцатилетним мальчишкой, и в следующие восемь лет я проводил каждую ночь за изучением иврита под руководством дяди-раввина. Он подготовил меня к бар-мицве в роттердамской синагоге, а потом продолжал наставлять меня в иудейских традициях до самой своей смерти. Я провел большую часть последних двенадцати лет в Роттердаме и недавно вернулся в Португалию только для того, чтобы спасти Франку.

– А ты, – обратился Бенто к Франку, которого, казалось, интересовали только плохо подметенные половицы лавки Спинозы, – ты совсем не знаешь иврита?

Но вместо Франку ответил Якоб:

– Нет, конечно. В Португалии, как ты только что заметил, запрещено все еврейское. Всех нас учили читать священные книги по-латыни.

– Скажи мне, Франку, ты совсем не знаешь иврита?

И снова вмешался Якоб:

– В Португалии никто не осмеливается учить ивриту. Такому человеку не только грозила бы немедленная казнь, но и вся его семья подверглась бы преследованиям. И сейчас матери Франку и двум его сестрам приходится скрываться.

– Франку, – Бенто наклоняется, чтобы заглянуть тому прямо в глаза, – Якоб все время говорит за тебя. Почему ты предпочитаешь не отвечать?

– Он только пытается мне помочь, – говорит Франку шепотом.

– А тебе помогает то, что ты хранишь молчание?

– Я слишком расстроен, чтобы доверять своим словам, – отвечает Франку чуть громче. – Якоб говорит верно: моя семья в опасности, и у меня нет никакого иудейского образования, если не считать алфавита, которому он же меня и выучил, рисуя буквы на песке. И даже их он должен был сразу стирать ногой.

Бенто всем корпусом разворачивается к Франку, подчеркнуто не глядя на Якоба.

³¹ Марраны (мараны) – в средневековых Испании и Португалии – евреи, официально принявшие христианство.

– Ты тоже считаешь, что хотя брату твоему служба в синагоге принесла облегчение, тебя она взволновала?

Франку кивает.

– И ты взволновался из-за того, что...

– Из-за своих сомнений и чувств, – Франку украдкой бросает взгляд на Якоба. – Чувств столь сильных, что мне страшно описывать их. Даже тебе.

– Доверь мне разобраться в твоих чувствах, а не судить их.

Франку упорно смотрит вниз, голова его подрагивает.

– Как ты напуган! – продолжает Бенто. – Позволь мне попытаться успокоить тебя. Прежде всего давай подумаем, рационален ли твой страх.

Лицо Франку искажается гримасой, и он озадаченно смотрит на Бенто.

– Давай определим, осмысленны ли твои страхи. Подумай о двух вещах: *первое*, я тебе ничем не угрожаю. Я даю обещание никогда не повторять сказанного тобою. Более того, я тоже во многом сомневаюсь. Могу даже разделять некоторые твои чувства. И, *второе*, в Голландии никакой опасности нет, здесь нет инквизиции. Ни в этой лавке, ни в этой общине, ни в этом городе, ни даже в этой стране. Амстердам уже много лет независим от Иберии. Ты знаешь это, не так ли?

– Да, – тихо отзывается Франку.

– И при всем при этом часть твоей души, неподвластная тебе, продолжает вести себя так, будто ей угрожает великая и близкая опасность. Разве не удивительно то, насколько разрознены части нашей души? И то, как наше сознание, ее высшая часть, подавляется нашими эмоциями?

Никакого интереса к этим словам Франку не проявил.

Бенто помедлил. Он ощущал растущее раздражение и чувство обязанности, почти долга. Но как к нему подступиться? Не слишком ли многого он ждет от Франку – и не слишком ли скоро? Ему вспомнилось множество случаев, когда его собственный разум не мог приглушить страхи. Вот хотя бы вчера вечером, когда он шел наперерез толпе, направляющейся в синагогу на службу в честь шаббата...

Наконец он решился применить единственный доступный ему рычаг и самым мягким тоном проговорил:

– Ты умолял меня помочь тебе. Я согласился сделать это. Но если тебе нужна моя помощь, ты должен сегодня мне довериться. Ты должен помочь мне оказать тебе помощь. Ты меня понимаешь?

– Да, – вздохнув, ответил Франку.

– Хорошо, тогда твой следующий шаг – проговорить вслух свои страхи.

Франку затряс головой:

– Я не могу! Они чудовищны! И они опасны.

– Не настолько чудовищны, чтобы выдержать свет разума. И я только что доказал тебе, что они не опасны, если нечего бояться. Смелее! Пришло время взглянуть им в лицо. Если нет, то снова скажу тебе, – голос Бенто стал тверже, – что в продолжении наших встреч нет смысла.

Франку сделал глубокий вдох и начал:

– Сегодня в синагоге я слушал, как Писание читали на незнакомом языке. Я ничего не понимал...

– Но, Франку, – перебил его Якоб, – *разумеется*, ты ничего не понимал. Я же говорю тебе снова и снова, что это – дело поправимое. Рабби ведет занятия по ивриту. Наберись терпения...

– И снова, и снова, – огрызнулся Франку, в голосе которого теперь прорезался гнев, – я говорю тебе, что дело не только в языке. *Слушай* меня хоть иногда! Дело во всем этом зрелище. Нынче утром в синагоге я огляделся и увидел всех в причудливо расшитых кипах³², с молит-

³² Традиционный еврейский головной убор.

венными бело-голубыми бахромчатыми накидками, ныряющих головами туда-сюда, словно попугаи над своими кормушками, с глазами, возведенными горé? Я слышал это, я видел это, и я думал... нет, я не могу сказать, что я думал!

– Скажи, Франку, – попросил Якоб, – ведь только вчера ты мне говорил, что это и есть учитель, которого ты ищешь.

Франку прикрыл глаза.

– Я подумал: а какая разница между этим спектаклем и тем... нет, давай уж я выскажу свои мысли – тем балаганом, что происходил на католической мессе, которую, как мы знаем, должны посещать христиане? Когда мы были детьми, Якоб, помнишь, как после мессы мы – я и ты – смеялись над католиками? Мы высмеивали диковинные одеяния священников, бесконечные кровавые изображения распятия, преклонение перед мощами святых, просфоры и вино – и «поедание плоти», и «питие крови»... – голос Франку окреп. – Иудеи или католики... нет никакой разницы... это безумие. Все это – безумие!

Якоб торопливо нацепил на голову кипу, положил на нее ладонь и тихо запел молитву на иврите. Бенто тоже был потрясен и стал тщательно подыскивать правильные, самые серьезные слова:

– Думать о таком и считать, что ты такой один на свете... Чувствовать себя одиноким в своих сомнениях... должно быть, ты испытывал настоящий ужас.

Франку торопливо продолжал:

– И еще кое-что... еще одна мысль, еще ужаснее. Я не могу не думать о том, что ради этого безумия мой отец пожертвовал своей жизнью. Ради этого безумия он подверг опасности всех нас – меня, своих собственных родителей, мою мать, моего брата, моих сестер.

Якоб не сумел смолчать. Придвинувшись к брату и склонившись своей массивной головой над ухом Франку, он, стараясь говорить не слишком резко, произнес:

– Вероятно, отец понимал больше, чем его сын.

Франку покачал головой, открыл было рот, но ничего не сказал.

– И еще, подумай о том, – продолжал Якоб, – что твои слова делают гибель твоего отца бессмысленной. Такие мысли воистину означают, что его жертва напрасна. А он погиб, чтобы вера оставалась для тебя священной.

Франку, пристыженный, склонил голову.

Бенто понял, что должен вмешаться. Первым делом он обратился к Якобу и мягко проговорил:

– Всего минуту назад ты просил Франку высказать его мысли. Теперь же, когда он наконец стал их высказывать, как ты просил, – не лучше ли подбодрить его, нежели затыкать ему рот?

Якоб отодвинулся назад. Бенто продолжал, обращаясь к Франку все тем же серьезным тоном:

– Да, перед тобой настоящая проблема, Франку. Якоб утверждает, что если ты не веришь в то, что находишь невероятным, то тем самым делаешь мученичество своего отца бессмысленной жертвой. А кто пожелал бы причинить вред собственному отцу? Так много препятствий к тому, чтобы мыслить самостоятельно! Так много препятствий к тому, чтобы совершенствовать себя, пользуясь данным Богом разумом!

Якоб замотал головой.

– Погоди-ка, погоди – вот эти последние слова, о данной Богом способности мыслить. Это *не то*, что я говорил. Ты искажаешь мои слова! Ты говоришь о рассуждении? Я сейчас покажу тебе рассуждение. Воспользуйся своим здравым смыслом. Приглядишься как следует. Я хочу, чтобы ты сравнил! Посмотри на Франку. Он страдает, он рыдает, он отчаивается. Видишь его?

Бенто кивнул.

– А теперь посмотри на меня. Я силен. Я люблю жизнь. Я забочусь о нем. Я спас его от инквизиции. Меня питает вера и поддержка моих братьев-евреев. Я утешаюсь знанием о том, что наш народ и наши традиции продолжают жить. Сравни нас двоих с помощью своего драгоценного разума и скажи мне, *премудрый муж*, что говорит тебе он?

Что ложные идеи дают ложное и непрочное утешение, подумал Бенито, но придержал язык.

Якоб продолжал наседавать:

– И примени эти же рассуждения к себе, школяр! Кто мы такие, кто ты такой без нашей общины, без нашей традиции? Можешь ли ты жить, в одиночестве скитаясь по земле? Я слышал, ты не желаешь взять себе в жены ни одну женщину. Что за жизнь может быть у тебя без людей? Без семьи? Без Бога?

Бенито, который всегда избегал конфликтов, был неприятно поражен обличительной речью Якоба.

Якоб обернулся к Франку и сбавил тон:

– Ты будешь ощущать такую же поддержку, что и я, когда выучишь слова и молитвы, когда поймешь, что все это означает.

– С этим я соглашусь, – сказал Бенито, пытаясь успокоить Якоба, который снова сверлил его взглядом. – Растерянность усугубляет твоё потрясение, Франку. Каждый марран, покинувший Португалию, пребывает в растерянности. Приходится снова учиться, чтобы вновь стать евреем, приходится все начинать, как ребенку, – с алфавита. Я три года помогал рабби вести занятия ивритом для марранов и смею тебя уверить – ты быстро выучишься.

– Ну, уж нет! – упрямо возмутился Франку, живо напомнив Бенито сцену, которую он видел из окна. – Ни *ты*, Якоб Мендоса, ни *ты*, Бенито Спиноза, не слушаете меня! Снова говорю вам: *дело не в языке*. Я не знаю иврита, но этим утром в синагоге всю службу я читал испанский перевод святой Торы. Там полным-полно чудес. Бог разделяет Красное море, Он насылает казни на египтян, Он говорит, преобразившись в неопалимую купину. Но почему все эти чудеса случались *тогда*, во времена Торы? Скажите мне, вы оба, – что, пора чудес закончилась? Великий, всемогущий Бог отправился спать? Где был этот Бог, когда моего отца жгли на костре? И за что! За то, что он защищал священную книгу этого самого Бога? Разве Бог недостаточно могуществен, чтобы спасти моего отца, который так его почитал? Если так, то кому нужен слабый Бог? Или Бог не знал, что мой отец его чтит? Если так – кому нужен такой неведающий Бог? Или Бог достаточно могуществен, чтобы защитить его, но решил этого не делать? Если так – кому нужен столь равнодушный Бог?! Ты, Бенито Спиноза, которого зовут «благословенным», ты знаешь о Боге, ты – ученый. Объясни мне это!

– И почему ты так боялся заговорить? – парировал Бенито. – Ты задаешь важные вопросы – вопросы, которые озадачивают людей благочестивых многие столетия. Я полагаю, что эта проблема уходит корнями в фундаментальную и распространенную ошибку – ошибку допущения о том, что Бог – живое, мыслящее существо, существо в нашем образе, существо, которое мыслит *как мы*, существо, которое думает *о нас*. Древние греки понимали эту ошибку. Две тысячи лет назад мудрец по имени Ксенофан писал, что если бы у быков, львов и лошадей были руки, которыми можно было делать изображения, они бы изображали Бога в своем облике – придали бы ему тело, подобное их телам. Я полагаю, что если бы треугольники могли мыслить, они бы создали Бога в виде треугольника и со свойствами треугольника, а круги создали бы круглого...

Якоб, кипя от ярости, оборвал Бенито:

– Ты говоришь так, будто мы, евреи, ничего не знаем о природе Бога! Не забывай, что у нас есть Тора, в которой содержится Его Слово! А ты, Франку, не думай, что Бог лишен силы. Помни, что евреи продолжают жить – что бы с нами ни делали, мы все равно живем. Где все эти исчезнувшие народы – финикийцы, моавитяне, идумеи – и еще многие иные, чьих имен

я не знаю? Не забывай, что мы должны руководствоваться законом, который сам Бог даровал евреям, даровал нам – своему избранному народу!

Франку стрельнул глазами в Бенто, словно говоря: *видишь, с чем мне приходится иметь дело?* – и повернулся к Якобу:

– Все верят, что они избраны Богом – и христиане, и мусульмане...

– Нет! Какая разница, во что верят все? Имеет значение то, что написано в Библии! – Якоб повернулся к Спинозе: – Признай это, Барух, признай, школяр, разве не говорит Слово Божие о том, что евреи – избранный народ? Разве можешь ты это отрицать?

– Я провел не один год, изучая этот вопрос, Якоб, и, если пожелаешь, поделюсь с тобой результатами своих изысканий: – Бенто говорил мягко, как учитель обращается к любознательному ученику. – Чтобы ответить на твой вопрос об избранности евреев, мы должны обратиться к первоисточнику. Желаете ли вы сопровождать меня в исследовании слов самой Торы? Если да, то дойти до моего дома – дело нескольких минут.

Оба брата кивнули, обменявшись взглядами, и встали со своих мест, чтобы следовать за Бенто, который аккуратно поставил кресла на место и запер дверь лавки, собираясь вести их к себе домой.

Глава 8

Россия, Эстония, 1917–1918 гг

Предсказание директора Эпштейна о том, что нелюбознательность и ограниченный ум Розенберга сделают его безвредным, сбылось с точностью до наоборот. И столь же неверным оказалось его предположение о том, что Гете и Спиноза мгновенно выветрятся из мыслей Альфреда. Напротив: Альфред так никогда и не смог избавиться свое воображение от образа великого Гете, преклоняющего колени перед этим евреем Спинозой. Всякий раз, как у него возникали мысли о Гете и Спинозе (отныне навсегда слившихся воедино), он испытывал мгновенный внутренний разлад, а потом отметал его любыми доступными средствами. Порой его убеждал довод Хьюстона Стюарта Чемберлена о том, что Спиноза, как и Иисус, принадлежал к еврейской культуре, но не имел ни капли еврейской крови. Или, может быть, Спиноза был евреем, который крал мысли у арийских мыслителей. Или сам Гете был зачарован, загипнотизирован еврейским заговором... Альфред неоднократно раздумывал о том, не проверить ли эти идеи, порывшись как следует в библиотеках, но так и не сделал этого. Оказалось, что думать, думать по-настоящему – это такая же тяжелая работа, как переставлять на чердаке огромные неподъемные сундуки! Зато Альфред здорово преуспел в подавлении, направляя себя в какую-нибудь другую сторону. Бросался в разные занятия. А самое главное, уверял себя в том, что стойкие убеждения устраняют необходимость ученых изысканий.

Истинный и благородный немец чтит клятвы – и, когда приближался его 21-й день рождения, Альфред припомнил данное директору обещание прочесть «Этику» Спинозы. Он намеревался сдержать слово, купил букинистический экземпляр этой книги и погрузился в нее – только для того, чтобы на первой же странице столкнуться с длинным списком невразумительных определений:

1. Под *причиною самого себя (causa sui)* я разумею то, суть чего заключает в себе существование, иными словами, то, чья природа может быть представляема не иначе, как существующею.

2. *Конечною в своем роде* называется такая вещь, которая может быть ограничена другой вещью той же природы. Так, например, тело называется конечным, потому что мы всегда представляем другое тело, еще большее. Точно так же мысль ограничивается другой мыслью. Но тело не ограничивается мыслью, и мысль не ограничивается телом.

3. Под *субстанцией* я разумею то, что существует само в себе и представляется само через себя, т. е. то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться.

4. Под *атрибутом* я разумею то, что ум представляет в субстанции как ее сущность.

5. Под *модусом* я разумею состояние субстанции (*substantiae affectio*), иными словами, то, что существует в другом и представляется через это другое.

6. Под Богом я разумею существо абсолютно бесконечное (*ens absolute infinitum*), т. е. субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и безмерную сущность.

Кто в состоянии понять эту еврейскую галиматью?! Альфред отшвырнул книгу прочь через всю комнату. Неделей позже он предпринял вторую попытку, пропустив определения и перейдя к следующему разделу, озаглавленному «Аксиомы»:

1. Все, что существует, существует или само в себе, или в чем-либо другом.

2. Что не может быть представляемо через другое, должно быть представляемо само через себя.

3. Из данной определенной причины необходимо вытекает действие, и наоборот – если нет никакой определенной причины, невозможно, чтобы последовало действие.

4. Знание действия зависит от знания причины и включает в себе последнее.

5. Вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть и познаваемы одна через другую; иными словами – представление одной не включает в себе представления другой.

Это тоже не поддавалось расшифровке, и книга снова отправилась в полет. Позже он попробовал «на зуб» следующий раздел, «Теоремы», которые оказались не более доступными. Наконец до него дошло, что каждый последующий раздел логически вытекал из предшествующих определений и аксиом, и от дальнейших проб не будет никакого толку. Время от времени Альфред подбирал с пола тоненькую книжицу, раскрывал ее на портрете Спинозы, украшавшем титульную страницу, и, как зачарованный, вглядывался в это продолговатое овальное лицо и огромные, одухотворенные еврейские глаза с тяжелыми веками (которые смотрели прямо в его собственные, как бы он ни поворачивал книжку). *Избавься от этой проклятой книги*, говорил он себе, *продай ее* (правда, еще больше истрепавшись после нескольких путешествий по воздуху, она стоила бы сущие гроши). *Или просто подари кому-нибудь, или выброси*. Альфред понимал, что ему следует так и сделать, но, как ни странно, не мог расстаться с «Этикой».

Почему? Ну, клятва, конечно, была одним из факторов – но не обязывающим. Разве не сказал директор, что человек должен полностью возмужать, чтобы понять «Этику»? И разве впереди у него нет еще долгих лет учения, прежде чем он окончательно возмужает?

Нет, нет, не клятва досаждала ему: это была проблема с Гете. Альфред преклонялся перед Гете. А Гете преклонялся перед Спинозой. Альфред не мог избавиться от этой книжки потому, что Гете любил ее настолько, что носил в кармане целый год. Эта невразумительная еврейская чепуха утихомиривала буйные страсти Гете и заставляла его видеть мир отчетливее, чем когда-либо прежде. Как такое могло быть? Гете видел в ней нечто такое, чего Альфред не мог различить. Возможно, в один прекрасный день он сумеет найти учителя, который сможет все ему объяснить.

Бурные события Первой мировой войны вскоре вытеснили эту загадку из его сознания. Окончив ревельское реальное училище и распрощавшись с директором Эпштейном, герром Шефером и своим учителем рисования, герром Пурвитом, Альфред поступил в Политехнический институт в столице Латвии, Риге, – в двухстах милях от своего дома в Ревеле. Однако в 1915 году, когда германские войска стали угрожать Эстонии и Латвии, весь Политехнический институт был эвакуирован в Москву, где Альфред жил до 1918 года. В тот год он представил комиссии свою заключительную дипломную работу – архитектурный проект крематория – и получил степень архитектора и инженера.

Хотя его академическая работа была превосходна, Альфред никогда не ощущал проектирование своей стихией и предпочитал проводить время за чтением мифологии и художественной литературы. Его восхищали скандинавские легенды, собранные в «Эдде», и затейливые сюжеты романов Диккенса, и монументальные труды Толстого (которого он читал по-русски). Он барахтался на мелководе философии, снимая пенки с основных идей Канта, Шопенгауэра, Фихте, Ницше и Гегеля – и, как и прежде, бесстыдно предавался удовольствию читать философские труды в публичных местах.

Во время хаоса русской революции 1917 года Альфреда ужаснуло зрелище сотен тысяч охваченных яростью демонстрантов, выплеснувшихся на улицы, требующих свержения установленного порядка. Он, основываясь на работе Чемберлена, утвердился во мнении, что Россия всем обязана арийскому влиянию, проникавшему в нее через викингов, Ганзейскую лигу и немецких иммигрантов, подобных ему самому. Крушение российской цивилизации означало только одно: ее нордические основы опрокинуты низшими расами – монголами, евреями, славянами и китайцами – и душа истинной России вскоре погибнет безвозвратно. Неужели такой будет и судьба отечества? Неужели расовый хаос и деградация постигнут и саму Германию?!

Зрелище накатывающих волнами толп вызывало у него отвращение: большевики – животные, чья миссия – уничтожение цивилизации. Он тщательно изучал их лидеров и вскоре убедился, что по меньшей мере 90 % из них были евреями. Начиная с 1918 года и далее Альфред редко произносил слово «большевики» отдельно – для него они всегда были «еврейскими большевиками». И этому словосочетанию было суждено пробить себе дорогу в нацистской пропаганде. Получив в 1918 году диплом, Альфред с трепетом сел в поезд, который должен был провезти его по России обратно домой – в Ревель. Поезд, пытаясь ползти на запад, и он день за днем сидел у окна, вглядываясь в бескрайние российские просторы. Завороженный их огромностью – ах, сколько пространства! – он вспоминал пожелание Хьюстона Чемберлена о большем *Lebensraum*³³ для *фатерлянда*³⁴. Здесь, за окнами его купе второго класса, было то самое *Lebensraum*, в котором так отчаянно нуждалась Германия, но уже сама обширность России делала ее непобедимой, если только... если только армия русских коллаборационистов не станет сражаться бок о бок с фатерляндом. И зерно еще одной идеи упало в почву: эти грозные открытые пространства – что с ними со всеми делать? Почему бы не согнать сюда евреев – всех евреев Европы?..

Раздался паровозный свисток, скрежет тормозных колодок возвестил о том, что он прибыл домой. В Ревеле было так же холодно, как и в России. Он натянул на себя одну за другой все имевшиеся у него теплые вещи, плотно обмотал шею шарфом и, с сумками в руках, с дипломом в портфеле, выдыхая облачка пара, двинулся по знакомым улицам к дому, где прошло его детство, – к обители тетушки Цецилии, сестры отца. В ответ на стук раздался крик «Альфред!», а внутри его приветствовали мужские рукопожатия и женские объятия и торопливо препроводили в теплую, аппетитно благоухающую кухню на кофе со штрозелем³⁵, пока юный племянник помчался галопом за тетушкой Лидией, жившей через несколько домов по той же улице. Вскоре прибыла и она, нагруженная снедью для праздничного ужина.

Дома все осталось почти таким же, каким он помнил, и эта живучесть прошлого предоставила Альфреду редкую передышку, заставив забыть мучительное чувство оторванности от своих корней. Вид его собственной комнаты, практически не изменившейся за столько лет, вызвал на его лице выражение ребяческого ликования. Он опустился в свое старое кресло, где когда-то так любил читать, и с упоением наблюдал, как тетушка шумно взбивает подушки и поправляет пуховую перину на его постели – какая знакомая картина! Альфред obeжал взглядом комнату; заметил алый, размером с носовой платок молитвенный коврик, на котором многие годы назад (когда поблизости не было атеиста-отца) повторял перед сном свою молитву: «Благослови матушку на небесах, благослови батюшку, и пусть он снова выздоровеет, и исцели моего брата Эйгена, и благослови тетю Эрику, и тетю Марлен, и благослови всю нашу семью».

Там со стены, по-прежнему блестящий и могучий, смотрел изображенный на плакате кайзер Вильгельм, пребывающий в блаженном неведении о превратностях судьбы германской армии. На полочке под плакатом стояли оловянные фигурки воинов-викингов и римских леги-

³³ Жизненное пространство (*нем.*) – излюбленный термин нацистской пропаганды.

³⁴ Отечества.

³⁵ Пирог, посыпанный хрустящей кулинарной крошкой.

онеров, которые Альфред взял сегодня в руки с особой нежностью. Склонившись над маленькой книжной полкой, забитой его любимыми книгами, Альфред прямо расцвел, увидев, что они стоят в том же порядке, в каком он оставил их много лет назад: первой – его любимая «Страдания молодого Вертера», затем – «Дэвид Копперфилд», а потом все остальные – в порядке убывающей значимости.

Чувство возвращения домой не покидало Альфреда все время ужина с тетками, дядьями, племянниками и племянницами. Но когда все разошлись, на дом спустилась тишина, он, забравшись под свою пуховую перину, вновь ощутил отчужденность. Картина «дома» начала бледнеть перед глазами. Даже образы двух любимых тетушек, улыбающихся, машущих руками и кивающих, постепенно отдалились от него, оставляя только ледяную тьму. Где его дом? Где его родина?..

На следующий день Альфред скитался по улицам Ревеля, выглядывая знакомые лица, хотя все его детские товарищи по играм уже выросли и разъехались, и, кроме того, он знал в глубине души, что ищет фантомы – друзей, которых ему *хотелось бы* иметь. Он дошагал до училища. Коридоры и открытые классы выглядели одновременно и знакомо, и недружелюбно. Подождал в коридоре под дверью класса своего бывшего учителя, герра Пурвита, который был прежде так добр к нему. Когда прозвенел звонок, вошел в класс, чтобы поговорить с ним во время перемены. Герр Пурвит всмотрелся в лицо Альфреда, издал тихое восклицание, вроде бы узнав его, и стал расспрашивать о жизни – но в таких общих фразах, что Альфред, выходя из класса мимо очередной толпы учеников, рассыпавшихся по своим местам, усомнился в том, что его действительно узнали. Потом он некоторое время напрасно искал класс герра Шефера, зато заметил класс герра Эпштейна – более не директора, но снова учителя истории – и торопливо проскользнул мимо, отвернув лицо в сторону. Он не желал, чтобы его расспрашивали о том, сдержал ли он свое обещание прочесть Спинозу – и одновременно боялся случайно убедиться в том, что клятва Альфреда Розенберга давным-давно испарилась из мыслей герра Эпштейна.

Вновь оказавшись на улице, он направился к городской площади. Увидел там штаб-квартиру германской армии и импульсивно принял решение, которое, могло бы изменить всю его жизнь. Он по-немецки обратился к дежурному офицеру, сказав, что хочет записаться добровольцем, и был направлен к сержанту Гольдбергу – устрашающему вояке с большим носом и кустистыми усами, у которого, казалось, на лбу было написано: «еврей». Не отрывая глаз от своих бумаг, сержант недолго слушал Альфреда, он с ходу, и довольно грубо, отмел его просьбу:

– Мы ведем войну. Германская армия – для немцев, а не для граждан враждебных оккупированных стран!

Расстроенный, уязвленный манерами сержанта, Альфред отправился зализывать раны в пивную через несколько домов, заказал кружку светлого пива и уселся в конце длинного стола. Подняв кружку к губам, чтобы сделать первый глоток, он заметил человека в штатском платье, пристально глядевшего на него. Их взгляды ненадолго встретились; незнакомец приподнял свою кружку и кивком приветствовал Альфреда. Альфред, замешкавшись, ответил тем же, а потом снова ушел в себя. Через несколько минут, снова подняв глаза, он рассмотрел этого незнакомца – высокого, стройного, привлекательного человека с удлиненным типично германским черепом и темно-голубыми глазами, – который по-прежнему внимательно смотрел на него. Наконец тот встал и с кружкой в руке подошел к Альфреду, чтобы представиться.

Глава 9

Амстердам, 1656 г

Бенто впустил Якоба и Франку в дом, где жили они с Габриелем, и проводил их в свой кабинет через маленькую гостиную, чье скудное убранство выдавало отсутствие женской руки: только простая деревянная скамья и стул, соломенная метла в углу и камин с ручными мехами. В кабинете Бенто стоял грубо сработанный письменный стол, высокий стул и плетенное из ивовых прутьев кресло. К стене над двумя полками, прогибающимися под весом дюжины добротного переплетенных томов, были приколоты три выполненных его собственной рукою угольных наброска главного амстердамского канала. Якоб тут же направился к полкам, чтобы взглянуть на названия книг, но Бенто жестом пригласил его и Франку присесть, а сам торопливо принес из смежной комнаты еще один стул.

– Итак, за дело, – сказал он, достав свой сильно потертый экземпляр еврейской Библии и тяжело плюхнув его в центр стола. Он раскрыл было фолиант, чтобы Якоб и Франку могли следить за текстом, но вдруг передумал и остановился, выпустив страницы, которые легли на прежнее место.

– Я сдержу свое обещание точно показать вам, что говорит (или не говорит) наша Тора о том, что евреи – избранный народ. Однако предпочел бы начать со своих общих выводов – плодов долгих лет изучения Библии. Вы не против?

Получив одобрение Якоба и Франку, Бенто приступил к делу:

– Центральная мысль Библии о Боге, как я полагаю, заключается в том, что Он совершенен, полон и обладает абсолютной мудростью. Бог есть всё, и от себя самого создал мир и все, что есть в нем. Согласны?

Франку быстро кивнул. Якоб подумал, выпятил нижнюю губу, выставил перед собой правую руку ладонью вверх и подтвердил свое согласие медленным, осторожным кивком.

– Поскольку Бог, по определению, совершенен и не имеет никаких нужд, значит, он создал мир не для себя, но для нас.

И вновь он был вознагражден кивком Франку и озадаченным взглядом и разведенными ладонями Якоба, словно говорящими: «И при чем тут это?»

Бенто спокойно продолжал:

– А поскольку Он создал нас из собственной своей субстанции, его цель для всех нас (опять же, являющихся частью собственного существа Бога) – обрести счастье и блаженство.

Якоб воодушевился, словно наконец услышал нечто такое, с чем мог полностью согласиться:

– Да, я слышал, как мой дядя говорил о том, что в каждом из нас есть Божья искра.

– Именно. Твой дядя и я полностью в этом согласны, – подтвердил Спиноза и, заметив легкую тень на лице Якоба, решил впредь воздержаться от подобных замечаний: Якоб был слишком умен и подозрителен, чтобы относиться к нему снисходительно. Он раскрыл Библию, пролистал страницы. – Итак, давайте начнем с некоторых стихов из псалмов...

Бенто начал медленно читать на иврите, ведя пальцем по словам, которые для Франку переводил на португальский. Всего через пару минут Якоб перебил его, качая головой и приговаривая:

– Нет-нет-нет!

– Нет – что? – спросил Бенто. – Тебе не нравится мой перевод?

– Дело не в твоих словах, дело в твоей манере. Меня, как еврея, оскорбляет то, как ты обращаешься с нашей священной книгой! Ты не целуешь ее и не чтешь. Ты только что не швырнул ее на стол, тычешь в нее немытым пальцем. И читаешь без всякого распева, без вся-

кой интонации! Ты читаешь ее тем же тоном, каким мог бы читать торговый договор на свой изюм. Такого рода чтение оскорбляет Бога!

– Оскорбляет Бога? Якоб, умоляю, следуй путем разума! Разве мы только что не согласились в том, что Бог полон в себе, не имеет нужд и не является существом, подобным нам? Как же возможно, чтобы Бога оскорбляла такая мелочь, как мой стиль чтения?

Якоб молча покачал головой, а Франку с загоревшимся взглядом придвинул свой стул поближе к Бенто.

Бенто продолжил вслух читать псалом на иврите, переводя каждое слово на португальский для Франку:

– «Близок Господь ко всем призывающим Его»³⁶, – Бенто пропустил несколько строк псалма и продолжал: – «Благ Господь **ко всем**, и щедроты Его на всех делах Его»³⁷... Поверьте, – проговорил он, – я могу найти множество таких стихов, ясно говорящих о том, что Бог даровал всем людям равную долю разума и сердца... – Якоб снова затряс головой, и Бенто переключил внимание на него: – Ты не согласен с моим переводом, Якоб? Могу тебя уверить, здесь сказано «ко всем»; здесь *не* сказано «ко всем евреям».

– Я не могу не согласиться: слова есть слова. Что Библия говорит – то она говорит. Но в Библии сказано многое, и немало есть ее прочтений и толкований, сделанных многими благочестивыми людьми. Ты что же, не придаешь значения великим комментариям Раши³⁸ или Абарбанеля³⁹? Или, может, даже не знаешь их?

Бенто нимало не смутился:

– Я был вскормлен этими комментариями и комментариями комментариев. Я читал их от рассвета до заката. И, пожалуйста, учти, что я провел не один год за изучением священных книг, ты ведь сам мне говорил, многие в нашей общине уважают меня как ученого. Несколько лет назад я избрал собственный путь, в совершенстве овладел древнееврейским и арамейским, отложил чужие комментарии в сторону и стал заново изучать настоящий текст Библии. Дабы полностью понять слова Библии, необходимо знать древний язык и читать ее со свежим, ничем не стесненным духом. Я хочу читать и понимать истинное слово Библии, а не то, что оно означает, по мнению некоторых раввинов. Не какие-то воображаемые метафоры, на видение коих претендуют ученые, и не какие-то тайные послания, которые каббалисты узрели в определенном рисунке слов и нумерологическом значении букв. Я хочу вновь читать то, что *на самом деле* говорит Библия. Таков мой метод. Желаете ли вы, чтобы я продолжал?

Франку проговорил:

– Да, пожалуйста, продолжай!

Но Якоб замешкался. Волнение явно отражалось на его лице, ибо, едва услышав, как Бенто искусно подчеркивает слова «ко всем», он догадался, к чему ведут аргументы Бенто. Якоб чуял впереди ловушку. Он попробовал упреждающий маневр:

– Ты еще не ответил на мой очень важный и простой вопрос: отрицаешь ли ты, что евреи – избранный народ?

– Якоб, твои вопросы – неверные вопросы. Очевидно, я выразился недостаточно ясно. Я хочу бросить вызов *всему твоему отношению к авторитетам*. Это не вопрос о том, что отрицаю я или утверждаю какой-нибудь раввин или ученый. Давай не будем заглядываться на великих, а взглянем вместо этого в слова нашей священной Книги, которые говорят нам, что наше истинное счастье и блаженство состоят исключительно в наслаждении тем, что есть

³⁶ Псал. 144: 18 (здесь и далее – Синодальный перевод).

³⁷ Псал. 144:9.

³⁸ Раши (акроним словосочетания «Рабейну Шломо Ицхаки» – «наш учитель Шломо сын Ицхака») – крупнейший средневековый комментатор Талмуда и один из классических комментаторов Танаха.

³⁹ Абарбанель, Абрабанель Исаак – еврейский ученый (1437–1508), министр финансов Фердинанда Кастильского, автор философских, богословских трактатов и комментария к Библии.

благо. Библия вовсе не велит нам гордиться тем, что мы, евреи, одни суть благословенны, или что на нашу долю досталось больше радости, потому что другие не ведают истинного счастья.

Якоб ничем не показал, что его удалось убедить, и Бенто попробовал другую тактику:

– Позволь мне привести пример из нашего сегодняшнего опыта. Раньше, когда мы были в лавке, я узнал от тебя, что Франку почти не знает иврита. Верно?

– Да.

– Тогда скажи мне, должен ли я возрадоваться тому, что знаю иврит лучше, чем он? Делает ли его незнание иврита меня более образованным, чем я был час назад? Радоваться нашему превосходству над другими – деяние несправедливое. Это ребячество или злорадство. Разве не так?

Якоб скептически пожал плечами, но Бенто уже завелся. Годами обремененный необходимостью молчать, он теперь радовался возможности выразить вслух многие из выстроенных им аргументов. Он продолжал, обращаясь к Якобу:

– Ты наверняка согласишься, что благочестие покоится на любви. Это высший смысл, сокровенное послание всех писаний – и христианского Евангелия в том числе. Мы должны проводить различие между тем, что действительно говорит Библия, – и тем, что она утверждает, по мнению авторитетов. Слишком часто раввины и священники преследуют собственные интересы, создавая предвзятые толкования – толкования, которые предполагают, что только в них содержится ключ к истине!

Хотя Бенто краем глаза видел, как Франку и Якоб обменялись ошеломленными взглядами, он не остановился:

– Вот, смотрите, в этом стихе из книги Царств... – Спиноза раскрыл Библию на месте, которое отметил красным шнурком. – Послушайте слова, которые Бог обращает к Соломону: «Вот, Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе»⁴⁰. А теперь на минуту задумайтесь, вы оба, об этих словах Бога, обращенных к мудрейшему из мужей мира. Безусловно, это – свидетельство того, что слова Торы не могут быть поняты буквально. Их нужно понимать в контексте эпохи...

– В каком контексте? – перебил Франку.

– Я имею в виду язык и исторические события эпохи. Мы не можем понимать Библию с точки зрения сегодняшнего языка: мы должны читать ее, зная условности языка того времени, когда она была написана и собрана воедино, а это случилось целых две тысячи лет назад...

– Как?! – ахнул Якоб. – Моисей ведь написал Тору, ее первые Пять книг, гораздо раньше, чем две тысячи лет назад!

– Это еще больший вопрос. Я вернусь к нему через пару минут. А пока позволь мне продолжить с Соломоном. Вот о чем я хочу сказать. Слова Бога в адрес Соломона – это просто выражение, которое использовалось для передачи представления о великой, выдающейся мудрости, призванное порадовать Соломона. Неужели вы поверите в то, что Бог ожидал от Соломона, мудрейшего из всех людей, будто он возрадуется тому, что другие всегда будут глупее его?! Уж наверняка он, в мудрости своей, пожелал бы, чтобы каждый был одарен такими же способностями.

Яков запротестовал:

– Я не понимаю, о чем ты говоришь! Ты выхватываешь из текста несколько слов или фраз, но игнорируешь тот очевидный факт, что мы – богоизбранный народ. Святая Книга то и дело говорит об этом!

– Вот, взглянем на книгу Иова, – неуклонно продолжал Бенто. Он перелистал страницы и прочел: – *Всякий человек должен удаляться от зла и творить добро*. В таких фрагментах, – продолжал Бенто, – становится ясно, что Бог имел в виду весь род человеческий. А еще имейте

⁴⁰ 3-я Царств, 3:12.

в виду, что Иов был неевреем, однако из всех людей он был наиболее угоден Богу. Вот эти строчки – прочтите сами!

Якоб даже не подумал взглянуть на текст.

– Может, в Библии и есть какие-то такие слова. Но там есть тысячи слов противоположных. Мы, евреи, отличаемся от других, и ты это знаешь! Франку только что спасся от инквизиции. Скажи-ка мне, Бенто, когда это евреи учреждали инквизицию? Другие убивают евреев. А мы разве когда-нибудь убивали других?

Бенто молча перевернул страницы, на сей раз открыв Иисуса Навина, стих 10:37, и прочел:

– И взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось в нем; никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном: предал закланию его и все дышащее, что находилось в нем. Или тот же Иисус Навин, стих 11:11, о городе Асоре: и побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав закланию: не осталось ни одной души; а Асор сожгет он огнем. Или вот еще, в Первой книге Царств, глава 18, стихи 6—11: Когда они шли, при возвращении Давида с победы над Филистимлянами, то женичины из всех городов Израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами... И восклицали игравшие женичины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч!

Бенто передохнул и продолжил:

– Как ни печально, в Торе содержится немало свидетельств того, что когда израильтяне были в силе, они были столь же жестоки и безжалостны, как и любой иной народ. Они не имели ни нравственного превосходства, ни большей праведности, ни большего интеллекта, чем другие древние народы. Они превосходили других лишь тем, что у них было хорошо упорядоченное общество и превосходное правление, которое позволило им выживать в течение очень долгого времени. Однако этот древний еврейский народ давно прекратил свое существование, и с тех самых пор евреи сделались равны своим братьям – иным народам. Я не вижу в Торе ни одного указания на то, что евреи превосходят другие народы. Бог одинаково милостив ко всем!

Якоб, не веря своим ушам, проговорил:

– Ты говоришь, что ничто не отличает евреев от язычников?

– Истинно так, но это говорю не я, а святая Тора.

– Да как можешь ты называться Барухом и говорить такое?! Ты что, всерьез отрицаешь, что Бог избрал евреев, осыпал их милостями, помогал им и многого от них ждал?

– И снова, Якоб, прошу, поразмысли о том, что ты говоришь. Еще раз напомню тебе: избирают, расточают блага, помогают, ценят, ожидают – *люди*. Но Бог! Разве у Бога есть эти человеческие атрибуты? Вспомни о том, что представлять Бога во всем подобным нам – ошибка. Помнишь, я говорил о треугольниках и треугольном Боге.

– Мы *были* сотворены по образу его, – настаивал Якоб. – Обратись к книге Бытия. Дай я покажу тебе эти слова...

Бенто, не дожидаясь, прочел на память:

– И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их⁴¹.

⁴¹ Бытие, 1:26–27.

– Точно, Барух, это те самые слова, – подтвердил Якоб. – Вот бы благочестие твое было таким же стойким, как твоя память! Если это – собственные слова Бога, то кто ты такой, чтобы сомневаться в том, что мы сотворены по образу его?

– Якоб, примени же разум, данный тебе Богом! Мы не можем воспринимать такие слова буквально. Это метафоры. Неужели ты и впрямь считаешь, что все мы, смертные, из коих некоторые глухи или горбаты, страдают запором или тяжким недугом, сотворены по образу Божию? Подумай о таких, как моя мать, которая умерла, когда ей было чуть больше двадцати лет. Подумай о слепорожденных или калеках, или безумных с огромными, раздутыми водяной головами, о золотушных, о тех, у кого больные легкие и кто кашляет кровью, о скупцах или убийцах. И они, что ли, подобны Богу?! Ты думаешь, что душа Бога похожа на нашу? И Он желает, чтобы Ему льстили, и становится ревнивым и мстительным, если мы не повинемся Его законам? Может ли такой ущербный, искаженный образ мысли присутствовать у совершенного существа? Это всего лишь оборот речи тех, кто писал Библию.

– *Тех, кто писал Библию?* Ты так уничижительно говоришь о Моисее и Иисусе, о пророках и судьях? Ты отрицаешь, что Библия – это слово Божие?! – Голос Якоба становился громче с каждой фразой, и Франку, который жадно внимал каждому произнесенному Бенто слову, положил ладонь на рукав брата, пытаясь успокоить.

– Я никого не унижаю, – ответил Бенто. – Это – только твой личный вывод. Но я действительно говорю, что слова и мысли Библии исходят из человеческих представлений – от людей, которые писали эти стихи и воображали... нет, лучше сказать – *желали* быть похожими на Бога, быть сотворенными по образу Божию.

– Значит, ты отрицаешь, что Бог глаголет устами пророков?

– Очевидно, что любые слова Библии, о которых говорится как о «слове Божиим», рождены только в воображении разнообразных пророков.

– В воображении! Ты говоришь – *в воображении?* – Якоб в ужасе прикрыл рот ладонями, а Франку попытался скрыть усмешку.

Бенто понимал, что каждое слетающее с его губ слово разит Якоба, как гром, однако не мог сдержаться. Так радостно было сбросить наконец кандалы молчания и выразить вслух все те мысли – плоды одиноких размышлений, которыми он лишь изредка делился с раввинами в самой туманной форме! Ему вспомнилось предостережение ван ден Эндена – *«caute, caute!»* – но на сей раз он проигнорировал здравый смысл и ринулся вперед:

– Да, именно воображение, Якоб, и не ужасайся ты так: мы узнаем об этом из самих слов Торы, – Бенто краем глаза отметил ухмылку Франку и продолжил: – Вот, Якоб, прочти это вместе со мной, в главе 34 Второзакония, стих 10: *И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу.* А теперь подумай, Якоб, что это значит. Ты, конечно, помнишь, Тора говорит нам, что даже Моисей не видал лика Бога, так?

Якоб кивнул:

– Да, Тора так говорит.

– Итак, Якоб, коль скоро он Бога не видел, это должно значить, что Моисей *слышал* истинный голос Бога, а ни один пророк, следующий за Моисеем, истинного голоса Его *не слышал*.

Якоб промолчал.

– Объясни мне, – проговорил Франку, который ловил каждое слово Бенто, – если никто из других пророков не слышал голоса Божьего, тогда что же является источником пророчеств?

Радуюсь тому, что Франку наконец принял участие в разговоре, Бенто с готовностью ответил:

– Я полагаю, что пророки были людьми, наделенными необыкновенно живым воображением, но не обязательно обладали развитым здравомыслием.

– Значит, Бенто, – проговорил Франку, – ты считаешь, что чудесные пророчества – это всего лишь воображаемые представления пророков?

– Именно так.

Франку пробормотал:

– Кажется, будто на свете нет ничего сверхъестественного. Тебя послушать, так все имеет свое объяснение.

– Именно так я и считаю. Всё – и я имею в виду, действительно *всё* – имеет естественные причины.

– По мне, – промолвил Якоб, который во все глаза смотрел на Бенто, пока тот рассуждал о пророках, – так есть вещи, известные лишь Богу, вещи, имеющие причиной одну только Божью волю.

– Я верю, что чем больше мы будем в состоянии узнать, тем меньше будет такого, что известно одному лишь Богу. Иными словами, чем обширнее наше невежество, тем большее мы приписываем Богу.

– Да как ты смеешь...

– Якоб, – перебил его Бенто, – давай-ка вспомним, почему мы трое встретились. Вы пришли ко мне, потому что Франку был в беде, у него случился духовный кризис, и ему требовалась помощь. Я не звал вас – на самом деле я советовал вам обратиться к рабби, а не говорить со мной. Ты возразил: мол, вам сказали, что рабби сделает Франку только хуже. Помнишь?

– Да, верно, – подтвердил Якоб.

– Тогда какой нам обоим смысл и дальше вдаваться в такую дискуссию? Наоборот, есть только один истинный вопрос, – Бенто повернулся к Франку, – скажи мне, сумел ли я тебе помочь? Помогло ли тебе что-нибудь из сказанного мною?

– Все, что ты говоришь, несет мне утешение, – ответил Франку. – Ты помогаешь мне сохранить здравый рассудок. Я уж совсем было отчаялся, и твое ясное мышление, то, как ты не принимаешь ничего на веру, основываясь на авторитете, – это... я ничего подобного прежде не слышал! Я вижу, что Якоб в гневе, и прошу за него прощения, но что до меня самого... да, ты помог мне.

– В таком случае, – сказал Якоб, внезапно поднимаясь на ноги, – мы добились того, ради чего пришли, и наши дела здесь завершены!

Франку, похоже, оторопел и остался сидеть, но Якоб ухватил его за плечо, заставил встать и повел к двери.

– Спасибо тебе, Бенто, – проговорил Франку, стоя на пороге. – Пожалуйста, скажи мне, можно ли будет еще с тобой встретиться?

– Я всегда рад разумной дискуссии. Просто приходите в мою лавку. Но, – и последняя фраза Бенто была предназначена Якобу, – такой дискуссии, которая исключает здравый смысл, я не приветствую.

* * *

Как только дом Бенто скрылся из виду, Якоб широко ухмыльнулся, обнял Франку и крепко сжал его плечо:

– Теперь у нас есть все, что нам нужно! Мы отлично поработали. Ты прекрасно сыграл свою роль, на мой вкус – даже слишком хорошо, – но я не собираюсь это обсуждать, потому что мы еще не завершили то, что нам надо сделать. Смотри-ка, что мы добыли. Евреи – не богоизбранный народ; они ничем не отличаются от других народов. Бог не испытывает к нам никаких чувств. Пророки лишь воображали свои пророчества. Святые писания – не святы, они целиком и полностью суть творения человеческих рук и представлений. Слово Божие и воля Божия – вещи несуществующие. Книга Бытия и остальная Тора – это басни или мета-

форы. Раввины, даже величайшие из них, не обладают особым знанием, а действуют лишь в собственных интересах...

Франку помотал головой:

– У нас пока есть не все, что нам нужно. Я хочу еще раз с ним встретиться.

– погоди, но я только что перечислил все его прегрешения: его слова – это чистая ересь! Это то самое, что требовал от нас дядя Дуарте, и мы исполнили его волю. Наши доказательства ошеломительны: Бенто Спиноза – не еврей, он... он антиеврей!

– Нет, – повторил Франку, – у нас недостаточно доказательств. Мне нужно еще. Я не дам показания под присягой, пока не услышу больше.

– Да этого и так более чем достаточно! Вспомни, ведь твоя семья в опасности. Мы заключили сделку с дядей Дуарте – от сделки с ним еще никто не смог отвертеться. А именно это пытался сделать Спиноза – обдурить его, обойдя еврейский суд. Только благодаря дядиным связям, дядиным взяткам и дядиному кораблю ты не томишься в португальском застенке. И уже через две недели его корабль возвращается за твоими матерью и сестрой и за моей сестрой. Ты хочешь, чтобы их убили, как и наших отцов?! Если ты не пойдешь со мной в синагогу и не станешь свидетельствовать перед судьями, считай, что сам поднес факел к их кострам!

– Я не дурак, и нечего погонять меня, как барана! – отрезал Франку. – У нас есть время, и я хочу получить больше сведений, прежде чем стану свидетельствовать. Еще один день не играет никакой роли, и ты это знаешь. И более того, дядя обязан заботиться о своих родственниках даже в том случае, если у нас ничего не выйдет.

– Дядя делает то, что он хочет. Я знаю его лучше, чем ты. Он следует только своим собственным правилам, и великодушием никогда не отличался. Я даже не желаю больше видеть этого твоего Спинозу. Он клеветает на весь наш народ!

– У этого человека больше мозгов, чем у всей конгрегации, вместе взятой! И если ты не хочешь к нему идти, я поговорю с ним один.

– Ну уж нет, если ты пойдешь – пойду и я! Я не позволю тебе разговаривать с ним наедине. Уж больно он убедительно говорит! Если пойдешь один, *херем* объявят не только ему, но и тебе! – Заметив озадаченный взгляд Франку, Якоб добавил: – Херем – это отлучение: еще одно еврейское слово, которое тебе лучше бы запомнить.

Глава 10

Ревель, Эстония, ноябрь 1918 г

– *Guten Tag*⁴², – произнес незнакомец, протягивая руку. – Я – Фридрих Пфистер. Я вас, случайно, не знаю? Ваше лицо кажется мне знакомым.

– Розенберг, Альфред Розенберг. Вырос здесь. Только что вернулся из Москвы. На прошлой неделе получил диплом Политеха.

– Розенберг? Ах, да, да – именно! Вы – маленький братец Эйгена. У вас его глаза. Можно к вам подсесть?

– Разумеется.

Фридрих поставил свою кружку с пивом на стол и уселся напротив Альфреда.

– Мы с вашим братом были друзья – неразлейвода, и по сию пору поддерживаем связь. Я часто бывал у вас дома – даже катал вас на спине. Вы ведь... насколько?.. на шесть-семь лет младше Эйгена?

– На шесть. В вашем лице тоже есть что-то знакомое, но припомнить вас как следует я не могу. Не знаю, почему, но у меня сохранилось мало воспоминаний о раннем детстве – они все стерлись. Знаете, мне было всего лет девять или десять, когда Эйген уехал из дома учиться в Брюссель. Я почти не видел его с тех пор. Говорите, вы все еще поддерживаете связь с ним?

– Да, всего две недели назад мы с ним ужинали в Цюрихе. – ответил Пфистер.

– В Цюрихе? Так он уехал из Брюсселя?

– Около полугода назад. У него был рецидив чахотки, и он приехал в Швейцарию, чтобы отдохнуть и подлечиться. Я учился в Цюрихе и навестил его в санатории. Его выпишут через пару недель, и потом он переедет в Берлин, проходить высший курс банковского дела. А я через несколько недель переезжаю в Берлин учиться, так что мы будем там часто видеться. Вы ничего этого не знали?

– Нет, наши дороги давно разошлись. Мы никогда не были близки с братом, а теперь и вовсе потеряли связь.

– Да, Эйген упоминал об этом – и, как мне показалось, с горечью. Я знаю, ваша мать умерла, когда вы были совсем дитя, – для вас обоих это было тяжким ударом. И, как мне помнится, ваш отец также умер довольно молодым, и тоже от чахотки?

– Да, ему было всего 44. Это случилось, когда мне исполнилось 11 лет. Скажите, герр Пфистер...

– Пожалуйста, зовите меня Фридрихом. Друг вашего брата – и ваш друг. Будем теперь Фридрих и Альфред, согласны? И, Альфред, вы хотели спросить...

– Да. Интересно, Эйген когда-нибудь говорил обо мне?

– При нашей последней встрече – нет. Мы не виделись три года, и нам многое нужно было друг другу рассказать. Но он неоднократно вспоминал о вас в прошлом.

Альфред замешкался, а потом выпалил:

– Не могли бы вы рассказать мне все, что он обо мне говорил?

– Все? Что ж, я попытаюсь, но вначале позвольте мне поделиться одним замечанием: с одной стороны, вы сообщаете мне, как нечто само собой разумеющееся, что вы и ваш брат никогда не были близки и, похоже, не предпринимали никаких усилий, чтобы связаться друг с другом. Однако сегодня вы полны готовности... даже, я бы сказал, жаждете услышать новости о нем. Вот ведь парадокс! Он заставляет меня задуматься, уж не заняты ли вы некими изысканиями о себе и своем прошлом?

⁴² Здравствуйте (нем.).

Альфред на мгновение отшатнулся, пораженный пронизательностью вопроса.

– Да, верно. Мне удивительно то, что вы об этом заговорили. У меня внутри сейчас происходит... ну, не знаю, как и сказать это... хаос. Я видел в Москве буйные толпы, радующиеся анархии. Теперь эти волны катятся по Европе – по всей Европе. Океан людей, лишившихся своих корней. И я – такой же бесприютный, как они, может быть, даже более потерянный, чем другие... отрезанный от всего...

– И поэтому ищете якорь в прошлом, жаждете неизменного прошлого... Я могу это понять. Дайте-ка я покопаюсь в памяти, что же говорил о вас Эйген... Подождите минуту, я сосредоточусь и вытащу эти образы на поверхность.

Фридрих прикрыл глаза и через некоторое время снова медленно их открыл.

– Я ощущаю некое препятствие – похоже, на пути стоят мои собственные воспоминания о вас. Давайте я сперва расскажу вам о них, а тогда уж смогу припомнить и слова Эйгена. Хорошо?

– Да-да, хорошо, – промямлил Альфред. Ему пришлось покривить душой: ничего особенно хорошего в этом он не видел. Напротив, весь их разговор был чрезвычайно странным: каждое слово, слетавшее с уст Фридриха, было необычным и неожиданным. Однако при всем том он доверял этому человеку, который знал его ребенком: у Фридриха была особая аура «домашности».

Вновь прикрыв глаза, Фридрих заговорил отстраненным тоном:

– Бой подушками... я пытался расшевелить вас, но вам не хотелось играть... я не мог втянуть вас в игру. Серьезный – о, какой серьезный! Порядок, порядок... игрушки, книги, игрушечные солдатики – все в таком строгом порядке... вы любили этих игрушечных солдатиков... ужасно серьезный маленький мальчик... Я иногда катал вас на спине... кажется, вам это нравилось... но вы всегда быстро спрыгивали... может, вам не нравилось веселиться? Дом казался холодным... без матери... где были ваши друзья?... никогда не видел в вашем доме друзей... вы были пугливы... убегали в свою комнату, закрывали дверь, всегда бежали к своим книжкам...

Фридрих умолк, открыл глаза, от души глотнул пива и поднял взгляд на Альфреда.

– Вот пока всё, что всплывает из хранилища моей памяти, – возможно, другие воспоминания покажутся позже. Вы этого хотели, Альфред? Мне нужна уверенность. Я хочу дать брату моего ближайшего друга то, что он хочет и что ему нужно.

Альфред кивнул и тут же отвернулся, пристыженный собственным изумлением: никогда еще он не слышал таких речей. Хотя произносимые Фридрихом слова были родными, немецкими, весь его язык был Альфреду совершенно чужд.

– В таком случае я продолжу и добуду из памяти комментарии Эйгена на ваш счет. – Фридрих снова закрыл глаза и через минуту заговорил все тем же странным, отстраненным тоном: – Эйген, расскажи мне об Альфреде, – а потом переключился на другой голос – тот, который, вероятно, должен был обозначать голос Эйгена:

– Ах, мой стеснительный, боязливый братец – замечательный рисовальщик, он унаследовал все семейные дарования! Мне так нравились его наброски Ревеля: порт и все эти корабли, стоящие на якоре, тевтонский замок с его взмывающей ввысь башней – даже для взрослого эти рисунки считались бы талантливыми, а ведь ему было всего десять. Мой маленький братец – вечно не вылезающий из книжек, – бедняга Альфред – такой замкнутый... так боялся других детей... Его не любили: мальчишки дразнили его и обзывали «философом»... не так-то много ему досталось любви: мать умерла, отец при смерти, наши тетушки – женщины добросердечные, но всегда заняты собственными семьями... Мне следовало больше для него сделать, но до него трудно было достучаться... и самому мне не так-то много доставалось...

Фридрих открыл глаза, раз или два моргнув, а потом, уже своим обычным голосом, проговорил:

– Вот что я помню. Ах, да, было еще одно, Альфред, и я говорю об этом со смешанным чувством: Эйген винил вас в смерти вашей матери.

– Винил меня? Меня?! Да мне и было-то всего пара недель от роду!

– Когда умирает близкий нам человек, мы часто ищем козла отпущения.

– Не может быть, чтоб вы говорили серьезно! Или серьезно? Я имею в виду – Эйген и вправду так говорил? Но это же бессмыслица какая-то...

– Мы часто верим в вещи, которые не имеют смысла. Конечно, вы ее не убивали, но, как я представляю, Эйген лелеял мысль о том, что если бы ваша матушка не забеременела вами, она была бы сейчас жива. Правда, Альфред, это только мои догадки. Я не могу вспомнить его точные слова, хотя доподлинно знаю, что он испытывал по отношению к вам негодование, которое сам же заклеил как иррациональное.

Альфред, лицо которого стало пепельно-серым, хранил молчание несколько минут. Фридрих пристально смотрел на него, потягивал пиво, а потом мягко произнес:

– Боюсь, я сказал слишком много, но когда друг меня просит, я стараюсь дать ему все, что могу.

– И это хорошее качество. Точность, честность – благородные немецкие добродетели... Я ценю это, Фридрих. И столь многое из сказанного вами кажется истинным... Должен признать, я порой недоумевал, почему Эйген не заботился обо мне больше. И эта дразнилка – «маленький философ», – как часто я слышал ее от других мальчишек! Думаю, она на меня сильнеешим образом повлияла, и я замыслил отомстить им всем, став в конце концов философом.

– А как же Политехнический? Как одно сочетается с другим?

– Я не то чтобы дипломированный философ, – степень у меня в архитектуре и инженерии – но моим истинным призванием была философия, и даже в Политехническом я нашел кое-каких ученых профессоров, которые руководили моим личным чтением. Более всего иного я почитаю немецкую ясность мысли. Это – моя единственная религия... Однако в этот самый момент мысли мои расстроены и блуждают. Если честно, у меня голова идет кругом. Наверное, мне просто нужно время, чтобы усвоить сказанное вами.

– Альфред, думаю, я могу объяснить, что вы чувствуете. Я сам это пережил и видел в других. Вы реагируете не на воспоминания, которыми я с вами поделился. Это нечто иное. Лучшее всего можно объяснить это, прибегнув к философскому стилю. Я тоже прошел солидную философскую подготовку, и для меня поговорить с человеком сходных наклонностей – истинное удовольствие.

– Мне это доставило бы не меньшее наслаждение. Несколько лет я мог разговаривать на философские темы только с одними инженерами.

– Хорошо-хорошо... Позвольте мне начать так. Вспомните первый шок и недоверие по отношению к открытию Канта о том, что внешняя реальность не такова, какой мы ее обыкновенно воспринимаем – то есть что мы составляем природу внешней реальности посредством наших внутренних ментальных конструкций. Вы неплохо знакомы с Кантом, полагаю я?

– Да, знаком, и очень хорошо. Но как он связан с моим нынешним состоянием ума? Это...

– Ну, я имею в виду, что внезапно ваш мир – я сейчас говорю о вашем внутреннем мире, в значительной степени созданном вашими прошлыми переживаниями, – оказался *не таков, каким вы его считали*. Или, если выразить это по-другому, воспользовавшись термином Гуссерля – ваша *ноэма* оказалась взорвана.

– Гуссерль? Я избегаю еврейских псевдофилософов! А что такое *ноэма*?

– Советую вам, Альфред, не списывать со счетов Эдмунда Гуссерля: он – один из великих. Его термин «ноэма» относится к вещи, каковой мы ее переживаем – к структурированной нами реальности. К примеру, представьте себе здание, т. е. идею здания. А потом представьте, как вы прислоняетесь к зданию и обнаруживаете, что оно не является плотным, поскольку ваше

тело проходит сквозь него. В этот момент ваша нозма о здании взрывается – ваш *Lebenswelt*⁴³ внезапно оказывается не таким, как вы думали.

– Я приму к сведению ваш совет. Но не могли бы вы еще немного прояснить? Я понимаю концепцию о структуре, которую мы навязываем миру, но никак не соображу, какое это имеет отношение к Эйгену и ко мне.

– В общем-то, я говорю о том, что ваш взгляд на отношения с братом, существовавший у вас всю жизнь, изменился одним махом. Вы думали о нем в одном ключе – и вдруг в прошлом происходит сдвиг, совсем крохотный, но вы теперь узнаете, что он порой обижался на вас, несмотря на то что эта обида, конечно, была иррациональной и несправедливой.

– Так, значит, вы говорите, что голова у меня идет кругом оттого, что прочное основание моего прошлого оказалось смещено?

– Точно! Отлично сказано, Альфред. Ваша психика сейчас перегружена, потому что целиком поглощена восстановлением прошлого и не имеет возможности делать свою обычную работу – например, заботиться о вашем равновесии.

Альфред задумался.

– Фридрих, это потрясающая беседа. Вы дали мне массу пищи для размышлений. Но позвольте заметить, что отчасти головокружение у меня появилось *до* начала нашего разговора.

Фридрих прихлебывал пиво и молчал – спокойно, выжидаяще. Похоже, он хорошо умел ждать.

Альфред помедлил.

– Я обычно ни с одним человеком стольким не делюсь. На самом-то деле, я едва ли вообще с кем-то о себе говорю, но в вас есть нечто такое, очень... как бы это сказать... вызывающее доверие. Нечто очень дружелюбное.

– Ну, в некотором смысле я же вам не чужой. И, конечно, вы понимаете, что невозможно только что сойтись с человеком и сразу стать его старым другом.

– Сразу стать старым другом... – Альфред на мгновение задумался, потом заулыбался: – Я понимаю! Очень тонко подмечено... Что ж, день у меня начался с чувства отчуждения – я только вчера прибыл из Москвы. Я сейчас совсем один. Был женат – очень недолго: у моей жены чахотка, и отец несколько недель назад услал ее в санаторий в Швейцарии. Правда, дело не только в чахотке: ее состоятельная семья относится ко мне и моей бедности с чрезвычайным неодобрением, и я уверен, что наш крайне короткий брак на этом закончен. Мы слишком мало были вместе, а теперь даже перестали часто писать друг другу... – Альфред торопливо глотнул пива и продолжал: – По приезде, вчера, мне казалось, что мои тетки с дядьями и племянницы с племянниками рады видеть меня, и мне была приятна их радость. Я чувствовал себя своим среди своих. Однако хватило этого ненадолго. К утру, проснувшись, я вновь ощутил отчужденность и бездомность – и пошел бродить по городу, оглядываясь в поисках... чего? Наверное – ощущения родного дома, друзей или хотя бы знакомых лиц. А встречал лишь незнакомцев. Даже в своем училище я не встретил никого из тех, кого знал, кроме моего любимого учителя – учителя рисования. Но, увы, и он только притворялся, что узнал меня! А потом, менее часа назад, меня настиг последний удар. Я решился отправиться туда, где мое настоящее место – перестать жить изгнанником, воссоединиться со своей расой и вернуться в фатерлянд. Намекаясь вступить в германскую армию, я зашел в штаб-квартиру немецких войск, что прямо через улицу отсюда. И что вы думаете? Сержант-вербовщик, еврей по фамилии Гольдберг, отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи! Он выгнал меня со словами, что германская армия предназначена для немцев, а не для граждан враждебных стран!

Фридрих сочувственно покивал:

⁴³ Жизненный мир (нем.).

– Может быть, этот последний удар был вашей удачей. Скорее всего, вам повезло, что вы получили отсрочку приговора – избавление от бессмысленной, грязной гибели в окопах.

– Вы говорили, что я был необыкновенно серьезным ребенком? Полагаю, таким я и остался. Например, всерьез воспринимаю Канта: я считаю нравственным императивом вступление в армию. На что был бы похож наш мир, если бы все покинули в беде смертельно раненное отечество?! Когда оно зовет, его сыновья должны отвечать на зов.

– Странно, правда? – заметил Фридрих. – Странно, что в нас, балтийских немцах, больше германского духа, чем в самих коренных немцах. Вероятно, у всех нас, переселенцев, есть это могущественное стремление, о котором вы говорите, – стремление к дому, к месту, которому мы действительно принадлежим. Мы, балтийские немцы, находимся в самом сердце эпидемии оторванности от корней. Я сейчас особенно остро чувствую ее, потому что на прошлой неделе умер мой отец. Из-за этого, собственно, я и оказался в Ревеле. Теперь я тоже не знаю, где мое место. Мои бабка и дед по матери – швейцарцы, и все же Швейцария мне тоже не родина.

– Мои соболезнования, – склонил голову Альфред.

– Благодарю вас. Во многих отношениях от судьбы мне досталось меньше, чем вам: моему отцу было почти восемьдесят, и я ощущал его здоровое присутствие всю свою жизнь. А мать по-прежнему жива. Я здесь помогаю ей переехать в дом ее сестры... На самом деле, я оставил ее только потому, что она прилегла подремать, и вскорости должен вернуться обратно. Однако прежде чем уйти, хочу сказать вам вот что: на мой взгляд, проблема *дома* для вас – проблема серьезная и не терпящая отлагательств. Я могу немного задержаться, если вы хотите поглубже ее исследовать.

– Я не знаю, *как* ее исследовать. Признаться, ваша способность беседовать о глубоко личных вещах с такой легкостью меня изумляет. Я никогда не слышал, чтобы кто-то выражал свои сокровенные мысли так открыто, как вы.

– Хотелось бы вам, чтобы я помог вам сделать это?

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду – помочь вам идентифицировать и понять ваши чувства по отношению к дому.

Альфред опасливо глянул на собеседника, но, подумав и сделав долгий медленный глоток латышского пива, согласился.

– Тогда попробуйте одно упражнение. Сделайте то же самое, что делал я, когда извлекал свои воспоминания о вас в детстве. Вот что я вам предлагаю: подумайте об этой фразе – «не дома» – и произнесите ее про себя несколько раз: *не дома, не дома, не дома...*

Губы Альфреда молча шевелились, выговаривая эти слова минуту или две, а потом он покачал головой:

– Ничего не выходит. Моя психика бастует.

– Психика никогда не устраивает полных забастовок. Она всегда работает, но часто что-то блокирует наше знание о ее работе. Обычно это бывает самосознание или самопредставление. В данном случае, полагаю, это самопредставление связано со мной. Попробуйте снова. Предлагаю вам закрыть глаза и забыть обо мне, забыть обо всем, что я о вас думаю, забыть о том, как я могу судить о том, что вы скажете. Помните, что я пытаюсь вам помочь, помните: я даю вам слово, что этот разговор останется строго между нами. Я не поделюсь им даже с Эйгеном... А теперь закройте глаза, позвольте всплыть вашим мыслям на тему «не дома», а потом дайте им право голоса. Просто говорите то, что приходит в голову, – это не обязательно должно быть осмысленно.

Альфред снова закрыл глаза, но не издал ни звука.

– Я не слышу вас. Громче, думайте вслух.

Альфред тихо заговорил:

– Не дома. Нигде. Ни с тетей Цецилией, ни с тетей Лидией... мне нет места ни в школе, ни с другими мальчиками, ни в семье моей жены, ни в архитектуре, ни в инженерном искусстве, ни в Эстонии, ни в России... матушка-Россия, какая злая шутка!..

– Хорошо, хорошо, продолжайте, – подбодрил его Фридрих.

– Всегда снаружи, заглядывая внутрь, желая показать им... – Альфред умолк, открыл глаза. – Больше ничего не приходит...

– Вы сказали, что хотите «показать им». Показать кому, Альфред?

– Всем тем, кто высмеивал меня. В округе, в училище, в Политехническом – везде.

– И что же вы им покажете, Альфред? Оставайтесь в расслабленном состоянии. Вам не обязательно излагать рационально.

– Не знаю. Я как-нибудь заставлю их заметить меня.

– А если они заметят вас, вы тогда будете дома?

– Дома не существует... Вы это пытаетесь мне доказать?

– У меня не было заранее составленного плана, но теперь действительно появилась идея. Это только догадка, но я задумался: сможете ли вы хоть когда-нибудь оказаться «дома», поскольку дом – это не место, это состояние души. По-настоящему чувствовать себя дома – значит чувствовать себя дома в собственном теле, собственной оболочке... И, Альфред, я не думаю, что вы чувствуете себя дома в собственной оболочке. Вероятно, никогда не чувствовали. Вероятно, вы всю жизнь искали свой дом не в том месте.

Альфред был словно громом поражен. Приоткрыв рот, он впился взглядом в лицо Фридриха.

– Ваши слова попадают прямо в душу! Откуда вы знаете такие вещи, такие чудесные вещи?! Вы сказали, что вы – философ. Это из философии вы их почерпнули? Тогда я должен прочесть эту философию!

– Я просто любитель. Точно так же, как и вы, я бы с удовольствием провел свою жизнь, занимаясь философией, но мне приходится зарабатывать на жизнь. Я поступил в медицинскую школу в Цюрихе и многое узнал о том, как помогать другим высказывать свои трудные мысли... А теперь, – Фридрих поднялся со своего места, – я должен вас покинуть. Меня ждет матушка, а послезавтра я должен вернуться в Цюрих.

– Как жаль! Наш разговор во многом просветил меня, но я чувствую, что это только начало... Неужели нет никакой возможности продолжить его, прежде чем вы покинете Ревель?

– У меня есть только завтрашний день. Моя матушка всегда отдыхает после обеда. Может быть, в это же время? Давайте встретимся здесь.

Альфред сдержал свое жадное нетерпение и желание воскликнуть: «Да, да!» Вместо этого он с достоинством склонил голову:

– Буду ждать.

Глава 11

Амстердам, 1656 г

Следующим вечером в Академии ван ден Эндена латинская зубрежка под руководством неутомимой Клары Марии была прервана приходом ее отца. Он отвесил дочери формальный поклон и проговорил:

– Простите за вторжение, мефрау⁴⁴ ван ден Энден, но я должен перемолвиться словечком с господином Спинозой. И, повернувшись к Бенто, сказал: – Будьте любезны через час прийти в большой класс и присоединиться к занятиям греческим языком, где мы будем обсуждать некоторые тексты Аристотеля и Эпикура. Несмотря на то что ваш греческий еще только в зачатке, два упомянутых джентльмена имеют сообщить вам нечто важное. – Уже адресуясь к Дирку, он сказал: – Я понимаю, что вы не питаете большого интереса к греческому, поскольку, как это ни зазорно, он больше не входит в список обязательных предметов для медицинской школы. Однако в предстоящей дискуссии вы можете обнаружить такие аспекты, которые помогут вам в вашей будущей работе с пациентами. – Ван ден Энден снова церемонно поклонился дочери: – А теперь, мефрау, оставляю вас дальше муштровать их в латыни.

Клара Мария продолжала зачитывать короткие фрагменты из Цицерона, которые Бенто и Дирк по очереди переводили на голландский. Несколько раз она постукивала по столу линейкой, чтобы привести в чувство отвлекавшегося Бенто, который вместо того, чтобы слушать Цицерона, с упоением следил за чудесными движениями губ Клары Марии, когда она произносила *m* и *p* в словах *multa*⁴⁵, *pater*⁴⁶ и *puer*⁴⁷, а чудеснее всего это у нее выходило в слове *praestantissimum*⁴⁸.

– Куда сегодня подевалась ваша сосредоточенность, Бенто Спиноза? – проговорила Клара Мария, изо всех сил стараясь превратить свое миловидное юное личико с округлыми щеками в строгую гримасу.

– Прошу прощения, я на минуту заблудился в своих мыслях, мефрау ван ден Энден.

– Несомненно, думали о греческом симпозиуме у моего отца?

– Несомненно, – покривил душой Бенто, который в тот момент гораздо более думал о дочери, нежели об отце. А еще в его ушах продолжали раздаваться гневные слова Якоба, произнесенные несколько часов назад и предрекшие ему судьбу одинокого, покинутого всеми отшельника. Якоб – человек предвзятый, узколобый, он не прав во многих вопросах, но в этом был прав: в будущем Бенто не было места ни жене, ни семье, ни общине. Разум говорил ему, что его целью должна быть свобода, что его борьба за освобождение себя от уз суеверного еврейского сообщества станет фарсом, если он просто обменяет эти узы на кандалы брака и семейной жизни. Свобода была единственной целью, которую он преследовал, – свобода думать, анализировать, записывать мысли, отдающиеся громовым эхом в его душе... Но трудно – ох, как же трудно! – было ему оторвать свое внимание от чудесных уст Клары Марии!

Ван ден Энден начал дискуссию в классе греческого с восклицания:

– *Эвдемония!*⁴⁹ Давайте исследуем два корня этого слова. Приставка «эв», или «эу», означает... – он приложил ладонь к уху и подождал. Студенты робко заговорили: «хороший», «нор-

⁴⁴ Сударыня (нидерл.).

⁴⁵ Штраф, пеня (лат.).

⁴⁶ Отец (лат.).

⁴⁷ Мальчик, отрок (лат.).

⁴⁸ Наипревосходнейший (лат.).

⁴⁹ Эвдемония – древнегреческое слово (*eudaimonia*, *eu* – добро, *daimon* – божество) дословно означало судьбу человека,

мальный», «благоприятный». Ван ден Энден кивнул и повторил то же упражнение со словом «демон», получив в ответ более воодушевленный хор возгласов: «дух», «чертик», «младшее божество».

– Да, да и еще раз да! Все эти значения верны, но в сочетании с приставкой «эу» смысл слова склоняется в сторону «доброй судьбы», «доброго гения», «благого духа». И, таким образом, *эвдемония* обычно обозначает «нравственное благополучие», «счастье» и «процветание»⁵⁰. Синонимичны ли эти три термина? На первый взгляд – да, но в действительности философы бесконечно спорят об оттенках их различий. Что есть *эвдемония* – состояние души? Образ жизни? – не дожидаясь ответа, ван ден Энден добавил: – Или чистое гедонистическое удовольствие? Или, может быть, она связана с концепцией «*арете*» (*arete*), что означает...? – вновь приложив к уху ладонь, он дождался, пока двое учеников одновременно произнесли слово «добродетель».

– Да, именно так, и многие древнегреческие философы включают добродетель в концепцию *эвдемонии*, таким образом возвышая ее от *субъективного* состояния – чувства счастья – к более всеохватному представлению: жить нравственной, добродетельной, благой жизнью. Сократ высказывает сильные чувства на сей счет. Вспомните ваше чтение на прошлой неделе из Платоновой «Апологии», где он обращается к своему другу-афинянину и поднимает вопрос об «*арете*» в таких словах... – тут ван ден Энден принял театральную позу и стал декламировать Платона на греческом, а потом медленно перевел на латынь для Дирка и Бенито: – *Не совестно ли вам за свое стремление обладать как можно большим богатством, репутацией и почестями, в то время как вы не заботитесь и не обращаете мысли свои ни к мудрости, ни к истине, ни к наилучшему возможному состоянию души вашей?*

Договорив, ван ден Энден сменил позу и продолжил:

– Итак, имейте в виду, что ранние труды Платона отражают идеи его учителя, Сократа, а в позднейших работах, таких как «Государство», мы видим возникновение собственных идей Платона, подчеркивающих абсолютные стандарты для правосудия и других добродетелей в царстве метафизики. Каково представление Платона о нашей фундаментальной жизненной цели? Достичь высочайшей формы знания – и это в его представлении было понятие о «благе», из коего черпает свою ценность все прочее. Лишь тогда, говорит Платон, мы способны достичь *эвдемонии* – *состояния гармонии души*. Позвольте мне повторить это выражение: «*гармония души*». Его стоит запомнить; оно может весьма пригодиться вам в жизни.

После паузы ван ден Энден перешел к следующему тезису:

– А теперь давайте рассмотрим другого великого философа – Аристотеля, который учился у Платона около 20 лет. *Двадцать лет!* Запомните это, те из вас, кто хнычет по поводу того, что моя программа чересчур тяжела и продолжительна! В отрывках из «Никомаховой этики», которые будете читать на этой неделе, вы увидите, что Аристотель тоже имел устоявшиеся взгляды относительно того, что такое благая жизнь. Он был уверен, что она состоит не в чувственном удовольствии, не в славе, не в богатстве. Что же в *действительности* подразумевал Аристотель под нашей жизненной целью? Он считал, что эта цель – в осуществлении *сокровеннейшей уникальной функции*, которой мы обладаем. «Что это такое, – спрашивает он, – что отличает нас от прочих форм жизни?» Я адресую сей вопрос вам!

Теперь немедленного ответа у студентов не нашлось. Наконец один из них проговорил:

находящегося под покровительством богов или доброго духа.

⁵⁰ Понятие «эвдемония» подразумевает, что счастье человека связано с его добродетелью, понимаемой и как собственная нравственная добротность, и как нравственные обязанности перед другими людьми. **Демон** – становится **эвдемонией**, участь – счастьем по мере того, как обнаруживается, что индивидуальная судьба человека зависит от его нравственных качеств, что его самореализация совпадает с нравственным самосовершенствованием. В этике проблема счастья возникает по преимуществу как проблема соотношения счастья и добродетели. Самый первый и наиболее глубокий ее систематический анализ мы находим в «Никомаховой этике» Аристотеля. – *Прим. ред. (Использованы данные из Интернета: <http://nkozlov.ru/library/>).*

– Мы умеем смеяться, а другие животные – нет!

Его ответ вызвал у соучеников приступ хихиканья.

Другой сказал:

– Мы ходим на двух ногах.

– Смех и двуногость – неужели это лучшее из того, на что вы способны? – воскликнул ван ден Энден. – Такие глупые ответы принижают нашу дискуссию. Думайте! Каков главный атрибут, который отличает нас от низших форм жизни? – он вдруг повернулся к Бенто: – Я обращаю этот вопрос к вам, Бенто Спиноза.

Ни на мгновение не задумавшись, Бенто сказал:

– Я полагаю, это наша уникальная способность мыслить.

– Совершенно верно! И, следовательно, Аристотель утверждал, что счастливейший человек – тот, кто максимально использует данную функцию.

– Значит, высочайшее и счастливейшее из занятий – быть философом? – переспросил Альфонс, самый смышленный студент из греческого класса, раздосадованный молниеносным ответом Бенто. – Разве не своекорыстно со стороны философа утверждать подобное?

– Да, Альфонс – и вы не первый из мыслителей, пришедших к такому выводу. И уже само это наблюдение обеспечивает нам непосредственный переход к Эпикуру, еще одному важному греческому метафизику, который высказывал в корне иные идеи об эвдемонии и миссии философа. Когда через две недели будете читать отрывки из Эпикура, вы увидите, что он тоже давал определение благой жизни, но использовал совершенно другой критерий. Он много говорит об «атараксии» (*ataraxia*), что переводится как...? – и снова ладонь ван ден Эндена взметнулась к уху.

Альфонс тут же выкрикнул «спокойствие», а другие студенты вскоре добавили «покой» и «умиротворенность души».

– Да, да – и снова да, – покивал ван ден Энден, на сей раз более довольный успехами класса. – Для Эпикура *атараксия* была единственным истинным счастьем. И как же мы ее достигаем? Не через платоновскую гармонию души или аристотелевское развитие разума, но просто *путем избавления от беспокойства или тревоги*. Если бы Эпикур говорил с вами в эту минуту, он бы призвал вас к упрощению жизни. Вот как он мог бы изложить это, находишься он здесь сегодня...

Ван ден Энден прокашлялся и заговорил тоном университетского студента:

– Друзья, вам нужно так немного, и этого легко достичь, а с любыми неизбежными страданиями легко можно примириться! Не усложняйте свою жизнь такими низменными целями, как богатство и слава: они – враги атараксии. Слава, к примеру, состоит из мнений других и требует, чтобы мы проживали свою жизнь так, как угодно другим. Стремясь достичь славы и поддерживать ее, мы должны любить то, что любят другие, и избегать всего, чего избегают они. Итак, жизнь в славе или жизнь в политике? Бегите прочь от нее! А что же богатство? Избегайте и его! Оно – ловушка. Чем больше мы приобретаем, тем больше жаждем – и тем глубже бывает наша печаль, когда стремление наше не удовлетворяется. Друзья, слушайте меня: если жаждете вы счастья, не тратьте зря свою жизнь, борясь за то, что вам в действительности совсем не нужно!

– Итак, – продолжал ван ден Энден, вернувшись к своему обычному тону, – заметьте разницу между Эпикуром и его предшественниками. Эпикур думает, что высшее благо – достичь атараксии через свободу от всякой тревоги. А теперь – ваши комментарии и вопросы. Ах, да, господин Спиноза. У вас вопрос?

– А что, Эпикур предлагает только отрицательный подход? Я имею в виду, говорит ли он, что удаление от уныния – это все, что нам нужно, и что человек без внешних забот совершенен,

естественно, добр и счастлив? Неужели нет никаких положительных качеств, к которым нам следует стремиться?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.